

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности.

Предисловие.

I

Нужно оправдываться – сомнения быть не может. Вопрос лишь, с чего начинать: с оправдания формы или содержания настоящей работы. На Западе афористическая форма изложения – явление довольно обычное. Иное дело у нас. У нас полагают, что книга должна представлять из себя последовательную развитую систему мыслей, объединенных общей идеей – иначе она не оправдывает своего назначения... И точно, если бы книга не могла иметь никакого другого назначения, – то афоризм был бы этим самым навсегда осужден. Разрозненные, не связанные между собой мысли в лучшем случае могли бы рассматриваться как сырой материал, который может получить некоторую ценность лишь после соответствующей обработки. Но по мере того, как растет недоверие к последовательности и сомнение в пригодности всякого рода общих идей, не должно ли явиться у человека отвращение и к той форме изложения, которая наиболее приспособлена к существующим предрассудкам? Говорю по опыту. Настоящей работе я менее всего предполагал придать ту форму, которую она сейчас приняла. Во мне уже до известной степени успела вкорениться привычка к последовательному и систематическому изложению, и я начал писать, даже довел до половины работу по тому же приблизительно плану, по которому составлял и свои предыдущие сочинения. Но чем дальше подвигалась работа, тем невыносимее и мучительнее становилось мне продолжать ее. Некоторое время я и сам не мог отдать себе отчета, в чем тут, собственно, дело. Материал давно готов – осталась только чуть ли не внешняя компоновка. Но то, что я принимал за внешнюю обработку, оказалось гораздо более существенным и важным делом, чем мне казалось. С удивлением и недоумением я стал замечать, что, в конце концов, «идея и „последовательности“ приносилось в жертву то, что больше всего должно оберегать в литературном творчестве – свободная мысль. Иногда незаметное, пустячное на вид обстоятельство, – например, место, отведенное той или другой мысли, или случайное соседство уже придавали ей нежелательный оттенок отчетливости и определенности, на которые я не имел никакого права и которых менее всего желал. А все „потому что“ заключительные „итак“, даже простые „и“ и иные невинные союзы, посредством которых разрозненно добытые суждения связываются в „стройную“ цепь размышлений, – Боже, какими беспощадными тиранами оказались они! Я увидел, что так писать – для меня по крайней мере – невозможно. Ведь все мои собственные воспоминания читателя говорили мне, что самое обременительное и тягостное в книге – это общая идея. Ее нужно всячески вытравлять, если только не хочешь стать ее данником и бессловесным рабом, а меж тем до тех пор, пока сохраняется принятая форма изложения, идея не только будет главенствовать, но и подавлять собой все содержание книги. Ибо каким иным путем может быть достигнуто единство и цельность в сочинении? Я убедился, что другого исхода нет, что нужно вновь разобрат по камням наполовину уже выстроенное здание и, рискуя возбудить против себя негодование читателей и в особенности критики, которая, разумеется, в нарушении традиционной формы не захочет увидеть ничего, кроме странной причуды, представить работу в виде ряда внешним образом ничем не связанных меж собой мыслей... Нет идеи, нет идей, нет последовательности, есть противоречия, но ведь этого именно я и добивался, как, может быть, читатель уже и угадал из самого заглавия. Беспочвенность, даже апофеоз беспочвенности, – может ли тут быть разговор о внешней законченности, когда вся моя задача состояла именно в том, чтоб раз навсегда избавиться от всякого рода начал и концов, с таким непонятным упорством навязываемых нам всевозможными основателями великих и не великих философских систем. Современный законодатель мысли устанавливает незыблемый принцип: уметь кончать. Но попробуйте допросить его: что дает ему право с такой уверенностью провозглашать свой закон – и вы увидите, что у него, в сущности, ничего, кроме „доказательств по аналогии“, нет за душой. Дом без крыши никуда не годится, – ergo размышления без начала и конца должны быть отвергнуты. Но ведь дом и без печей не удовлетворяет своему назначению – неужели же из-за этого писателям обзаводиться дымовыми трубами и заслонками? Да и вообще ведь доказательства по аналогии самые бедные и неубедительные доказательства, собственно говоря, даже совсем и не доказательства. А меж тем, сколько я ни напрягаю память, я не могу припомнить в пользу законченности больше ни одного серьезного довода. Домом с крышей исчерпывается все. Ведь нельзя же в данном случае ссылаться на стремления нашего разума!? К чему только не стремился уже наш бедный разум и чего только уже не оправдывали его стремлениями! Когда-то, по крайней

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
мере, на него возлагали большие надежды – и тогда было естественно потакать его потребностям, даже дурным привычкам, вкусам и капризам. Но теперь, когда все так ясно сознали его бессилие, когда даже метафизики взялись за естественные науки и ни на минуту не спускают глаз с теории познания – неужели и теперь имеет смысл считаться с потребностями разума?! Не наоборот ли? Не является ли главной задачей нашего времени научиться искусству обходить (а то и разрушать) все те многочисленные заставы, которые под разными предложениями выстраивались в старину могущественными феодалами духа и лишь в силу вечного консерватизма трусливой и близорукой человеческой природы и донныне продолжают еще считаться непреодолимыми, даже „естественными“ преградами для движения нашей мысли? Зачем кончать? Зачем последнее слово? Зачем мировоззрение?.. Разумеется, я говорю о философии и о философах, о людях, стремящихся как можно более увидеть, узнать, испытать в жизни. Для обыкновенной житейской практики законченность по-прежнему останется неизменным догматом. Дом без крыши, точно, никуда не годится... Но незаконченные, беспорядочные, хаотические, не ведущие к заранее поставленной разумом цели, противоречивые, как сама жизнь, размышления – разве они не ближе нашей душе, нежели системы, хотя бы и великие системы, творцы которых не столько заботились о том, чтоб узнать действительность, сколько о том, чтоб „понять ее“? „Если моя теория не согласуется с фактами, – то тем хуже для фактов“, – сказал Гегель. Мне кажется, что вслед за ним и многие другие могли бы повторить эти „гордые“ слова – но не все успевают при жизни добиться гегелевской славы, при которой только и разрушается роскошь такой самоуверенной откровенности. Философы, естественно, ценят свои системы очень высоко: нелегко они им даются, на них ухлопывается целая жизнь. Да и спрос на мировоззрения велик. Человек, действительно, хочет „понять“ мир – и иногда так сильно хочет, что желание заглушает в нем всякую способность критически относиться к представляемым доводам, и он с восторгом приветствует даже слабую аргументацию. Теперь никто не скажет: *credo, quia absurdum*, [1] – но это не значит еще, что мы вполне эмансипировались от средневекового суеверия, что у нас нет своего *credo* и своего *absurdum*, только, разумеется, приспособленных к духу рационалистического настроенного века железных дорог и электричества. Впрочем, не нужно даже обманывать себя иллюзией новизны. Если порыться в памяти, то для нашего символа веры мы можем найти готовую формулу в пережитках далекой старины. Как ни дисциплинируйте человеческий ум, он все же ухитрится под тем или другим предлогом забраться под какую-нибудь «сень», чтобы на досуге вволю предаться своим порочным наклонностям, главным образом *dołce far niente*. [2] На что, кажется, беспощадно поступает современная методология! «Вере» строжайше воспрещено на выстрел приближаться к областям, где царит строгое научное исследование. Были приняты самые разнообразнейшие способы предупреждения, дабы коварная оболыстительница как-нибудь тайком не нашла себе приюта не только в уме, но и в «сердце» человека. «Вера ненаучна» – теперь это знает даже ребенок, и с школьного возраста нас приучают оберегаться от сближения с особой, навсегда скомпрометировавшей себя таким изобретениями, как астрология, алхимия и т. д. И если вы ознакомитесь с современными учениями о методах, вы уйдете от них совершенно успокоенным: сквозь частую сеть настроенных ими охранных постов, по-видимому, никакая вера не проберется в душу современного человека, будь она даже незаметнее булавочной головки. В положительности современного знания никто не сомневается, даже самые подозрительные и искушенные люди. Когда Толстой или Достоевский начинали воевать с наукой, они всеми силами старались перенести спор на моральную почву. Наука права, права, об этом разговору быть не может, но она служит богатым, а не бедным, она развивает в людях дурные страсти. Даже Ницше не всегда имел достаточно смелости пред лицом современной науки, и его смущала занятая ею неприступная позиция.

Но, к счастью, все, что есть дело человеческих рук, при ближайшем рассмотрении оказывается несовершенным. Столетия прогрессивной научной работы дали блестящие практические результаты, но в области теоретической мысли новое время почти ничего не сделало, хотя мы и насчитываем длинный ряд громких имен, начиная с Декарта и кончая Гегелем. Наука покорила человеческую душу не тем, что разрешила все ее сомнения, и даже не тем, что она, как это думает большинство образованных людей, доказала невозможность удовлетворительного их разрешения. Она соблазнила людей не своим всеведением, а житейскими благами, за которыми так долго бедствовавшее человечество погналось с той стремительностью, с какой измученный продолжительным постом нищий набрасывается на предложенный ему кусок хлеба. Венцом положительных наук считается социология, обещающая выработку таких условий общежития, при которых нужда, горе и страдания навсегда исчезнут с

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
земли. Это ли не соблазн? И разве ради таких заманчивых перспектив не стоит отказаться от призрачных надежд, которыми в прежние времена жило человечество? И на смену старого *credo, quia absurdum* явилось новое, вернее, обновленное и неузнанное *credo, ut intelligam*. [3]

Нужно только понять окружающий мир – и величайший идеал, когда-либо рисовавшийся человеческой фантазии, будет осуществлен. На радостях никто и не заметил, что бедный человеческий разум, руководимый на этот раз самой наукой, этой воплощенной осторожностью и недоверчивостью, снова попал впросак, и что вера в «понимание» не имеет решительно никаких преимуществ, сравнительно с другими, раньше властвовавшими над людьми верами. Да к тому же еще идеал, слово, пред которым человечество чуть ли не с колыбели своей привыкло гнуть колени. Где уж тут поверять, подозревать, допрашивать! Нет ни одного философски образованного человека, которому не было бы памятно схоластическое *credo, ut intelligam*, – но все убеждены, что к нам оно никакого отношения не имеет и что мы далеки от того младенческого состояния, при котором вера определяет характер и направление умственных интересов. Мы до того убеждены, что научное воспитание предохранило нас навсегда от возможности несообразных увлечений, что в последнее время даже вновь разрешили открыто приблизиться к себе бедной изгнаннице. «Это нашим предкам опасно было знаться с верой. Невышколенные и некультурные люди – они не умели пользоваться огнем и всегда становились его жертвой. Мы же спокойно будем наслаждаться теплом и светом, ибо знаем все свойства опасной стихии и не боимся их разрушительного действия». Такие и им подобные рассуждения усыпили подозрительность человеческой мысли и привели к неслыханному дотоле торжеству науки. Кому придет теперь охота повторить старый вопрос: в чем истина? Кто не знает, что этот вопрос не имеет никакого смысла с научной точки зрения, ибо какой бы ни получился на него ответ, это несколько не повлияет на ход и характер научных изысканий? Наука вперед знает, чего она хочет, и свои стремления формулирует в виде положений, которые она называет аксиомами или не требующими доказательств предпосылками.

II

В последнее время, когда вечные теоретические споры особенно обострили вопрос о происхождении аксиом, в философской литературе наблюдается чрезвычайно важное, на мой взгляд, даже знаменательное явление. В Германии целый ряд ученых философов выступает с попыткой так называемой нормативной теории закона причинности. Существенно нового в этом нет. Нормативная теория есть только своеобразная форма кантианства. Но здесь важно, что современные ученые считают необходимым особенно резко подчеркнуть те стороны кантовского учения, которые сам знаменитый основатель трансцендентального идеализма не находил нужным выдвигать на первый план. Связь науки с этикой у Канта ясна для всякого и помимо исследований его новейших учеников. Но у него, хоть он и признавал примат практического разума, закономерность явлений природы никогда не изображалась находящейся в прямой зависимости от наших этических требований. У него «закон» деспотически царил и над явлениями внешнего мира, и над человеческой душой. Но этим вся связь исчерпывается. Природа и человек повинуются – Канту этого было вполне достаточно. Современные же мыслители – захотели ли они большего, или почувствовали, что сохранить позицию Канта в неприкосновенном виде уже невозможно – пошли дальше. Они не признают независимого закона для теоретического разума – они его ставят под начало и контроль практического разума и делают попытки этического обоснования самостоятельной у Канта категории причинности. Вместе с Кантом они утверждают, что закономерность не свойственна явлениям внешнего мира, что ее туда привносит с собой человеческий разум, но привносит не потому, что по неисповедимым судьбам он принужден волей-неволей выступать в этой, быть может, и очень изменной и двусмысленной полицейско-административной роли, а потому, что эта роль есть высшая, самой моралью оправданная и освященная роль. А раз мораль появилась на сцену – шапки долой, дальнейших разговоров не полагается.

Теперь, быть может, читатель поймет, какой смысл и какое великое значение имел поход Ницше против морали. Немецкие философы, создавшие этическое обоснование закона причинности, шли своим путем и, вероятно, даже не подозревали о существовании Ницше. В свою очередь, Ницше, еще в 70-х годах оторвавшийся от университетской жизни, да и вообще мало интересовавшийся современными философскими учениями, вероятно, и не слышал ничего о новейших течениях в немецкой философии и менее всего мог думать, что занимается одним делом с официальными представителями этой науки. Правда, он занимался

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
по-своему. В то время, когда в Германии напрягались все силы, чтоб поддержать падающий престиж закономерности, и бросали на карту последнюю и самую драгоценную ставку, мораль – больше уже нечем было рассчитываться, – Ницше высказал неожиданное суждение, что расплата производится фальшивой монетой, что мораль сама требует оправдания и, стало быть, не может отвечать за науку. Этой мысли Ницше с желательной полнотой и отчетливостью нигде не формулировал. Я не уверен даже, что он ясно сознавал ее. По-видимому, он скорее инстинктом чуял, что с наукой до тех пор невозможно бороться, пока не будет свалена ее вечная и могучая союзница – мораль. Инстинкт, как мы видели, не обманул его. Теперь наиболее осторожные люди убеждаются, что основные предпосылки, аксиомы научного знания держатся только моралью. Такое признание было с их стороны преждевременным? Они не могли думать, что их тысячелетняя мораль теряет когда-либо свое обаяние? Весьма возможно – но слово сказано и вряд ли когда-нибудь забудется. Толстой, Достоевский и другие пытались восстановить против науки мораль – но их усилия в этом направлении оказались бесплодными. Нравственность и наука – родные сестры, родившиеся от одного общего отца, именуемого законом, или нормой. Временами они могут враждовать меж собой и даже ненавидеть одна другую, как это часто бывает между родными, но рано или поздно кровь скажется, и они примирятся непременно. Немцы это знают хорошо. У них везде – в школе, в армии, в морали, в полиции, в философии один высший принцип: порядок прежде всего. И, спору нет, принцип полезный: стоит только вспомнить, какие блестящие победы на всевозможных поприщах одержали наши дисциплинированные соседи за самое короткое время. Еще недавно они стояли в хвосте европейской культуры, теперь они заявляют, и совершенно основательно, притязания на гегемонию. И если бы наука и мораль ставили себе только утилитарные задачи, нужно было бы признать, что они своего достигли. Но они, как известно, добиваются большего. Они хотят себе суверенных, верховных прав над человеческой душой, и тут снова является старый вопрос, которого, несмотря на все теории познания, человечество никогда не забывало и никогда не забудет. Снова спрашивают: в чем истина? Наука безмолвствует. Мораль, по привычке, оглушительно выкрикивает старые, потерявшие смысл слова. Но им уже мало кто верит.

III

Мораль научна – наука моральна. Ясно, что теория познания проглядела нечто чрезвычайно существенное. Предпосылка критической философии: разум, в исследовании способности которого она полагает свою главную задачу, есть нечто неизменное, всегда себе равное, – совершенно произвольна и ни на чем не основана. Вся уверенность Канта держалась только на его готовности объединить математику с естествознанием под одним общим именем науки. Но откуда такая готовность? Для человека беспристрастного, для человека принужденного быть беспристрастным, – ибо кто добровольно захочет отказаться от своих страстей и желаний? – тут только открывается во всей своей несомненности одно чрезвычайно важное обстоятельство. Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, – хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму. Канту нужно было остановиться, Канту больше всего в жизни нужен был отдых и конец – после того трудного перехода, на который вынудил его своим скептицизмом Юм. Но прямо признаться в своей человеческой слабости и сказать, как говорит всякий истомившийся путник: «Я устал и хочу отдохнуть, хотя бы на заблуждении, хотя бы на воображаемой вере в достигнутую цель», – с тех пор как существует философия, разве кто-либо из основателей великих систем разрешал себе такую откровенность? Но и то сказать: кто хочет приобрести славу Александра Македонского и покорить мир, не распутывает, а разрубает гордиевы узлы. Когда человек теряет способность и силы двигаться вперед, он начинает утверждать, что дошел до конца, что дальше идти некуда и не нужно, что пора остановиться и начать строить мировоззрение. Здесь, быть может, и кроется разгадка того, что каждое новое поколение выдумывает свои истины, нимало не похожие на истины предыдущих поколений и даже не имеющие с ними никакой преемственной связи – хотя историки из сил выбиваются, чтобы доказать противное. Какая может быть связь и взаимное понимание между бодрым юношей, вступающим в жизнь, и усталым стариком, подводющим итоги своему прошлому? Да и усталость усталости рознь. Иной раз сон бежит от измученного непосильным трудом и долгим бдением человека, и, наоборот, как часто это капризное божество дарит своими благами ленивого и досужего бездельника. Вот тут-то и поди с рассуждениями о благодетельности отдыха и необходимости концов! Какие бы строгие доказательства вы ни приводили, с какую бы

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
уверенностью вы ни становились в позу Александра Македонского, в известных случаях вся ваша аргументация и весь пафос декламации будут потрачены даром. По воле судьбы этому человеку не до отдыха, не до сна. Прославлять сон и покой, говорить о нравственной обязательности сна и покоя пред человеком, для которого непрерывная бессонница и вечная внутренняя тревога стали почти второй природой – разве может быть более бесцельный и плоский вид издевательства? Всякие концы и последние слова, даже прославленные метафизические утешения, покажутся ему праздной и раздражающей болтовней. Если бы спросили его: «Куда ты идешь, на что ты надеешься?» – он, вероятно, ответил бы вам словами поэта:

Je vais sans savoir ou, j'attends sans savoir quoi.[4]

Неужели вы думаете, что этот человек захочет вместе с Кантом и кантианцами возвести в перл создания норму, закон, порядок, или, чтоб понять мир, он допустит какую-нибудь предпосылку, предлагаемую ему этикой? Да он вовсе и не ищет «понимания». Понять – это значит свести неизвестное к известному, но ведь все известное он видел, испытал, допросил, и от известного он бежал без оглядки. Если у него может быть какая-нибудь надежда, – то только в предположении, что неизвестное ничего общего с известным иметь не может, что даже известное не так уж известно, как это принято думать, и что, следовательно, все предпосылки и бесчисленные веры, которыми утешались отдельные лица и целые народы, были только обманчивыми иллюзиями, быть может, и не лишены красоты, но недолговечными и далекими от действительности. В его терминологии слово «понять», а вместе с ним и слово «конец», вероятно, совсем отсутствуют. Разве нужно понять мир, разве нужно ограничивать наше познание мира тем, что мы уже испытали и узнали раньше? У него одно желание – идти вперед. Куда он придет, где найдет приют? Эти вопросы потеряли для него смысл. Он все больше и больше убеждается, что слова «покой», «приют» и другие, им равнозначные, далеко не имеют той ценности, по какой они котируются в философии. Какое право имеют люди ввиду того, что происходит на их глазах, утверждать, что последней целью нашего существования являются успокоенность и самоудовлетворенность? И что человеческий язык и тот человеческий опыт, для которого мы нашли уже соответствующие слова, достаточен для выяснения всех тайн жизни?..

Все это может показаться не относящимся к делу. Мне заметят, что когда возбуждаются философские вопросы, всякие лирические отступления несвоевременны, что их нужно отвести в область поэзии, что когда речь идет о законе причинности, то даже сам Шекспир должен умолкнуть и только слушать, что ему говорят сведущие люди. Это было бы справедливо, если бы философы имели в своем распоряжении самостоятельные и независимые приемы исследования, если бы философы состояли из одних идей, а не из нервов и мускулов... Вошедшая в поговорку невозмутимость духа большинства представителей науки породила не только в публике, но и среди посвященных убеждение, что решающим моментом в суждении философа всегда являются сухие, объективные доводы. Да и темы его на вид таковы, что никакая «душа» не заинтересуется ими, хоть обещайте ей в награду личное бессмертие и магометанский рай со всеми его конкретными прелестями... Но, как я уже говорил, это чистейшее заблуждение. Философ знает усталость, которая какой угодно конец предпочитает продолжительному скитанию. Философ больше чем кто-нибудь другой боится неясности и неопределенности и за одно отчетливое заблуждение отдаст вам целый десяток трансцендентных, но шатающихся истин. А как боится он колеблющейся, неверной почвы! Помните вы страстные мечтания Гейне на корабле во время качки о родной Германии?

...Immerhin, mag Thorheit und Unrecht

Dich ganz bedecken, o Deutschland.

Ich sehne mich dennoch, nach dir:

Denn wenigstens bist du doch festes Land.[5]

Не приходили ли те же мысли Канту, когда он читал рассуждения Юма, колебавшие основные принципы науки? Философ – человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Он любит большие, хорошо утопанные дороги, на которых легко и свободно движется теоретическая мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия. Лучше всего он чувствует себя на широком, выровненном плацу. Здесь, под удар барабана, можно смело пройтись торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, не озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такта и давать как можно больше «ноги». Философ ценит только логическое мышление, т. е. беспечное движение по раз принятому направлению, ибо таким образом сила инерции не растрачивается на вечные оглядки, искания путей, на борьбу с «свободой воли» и ее постоянными спутниками – сомнениями. Правда, обыкновенно философ охотнее говорит о

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
парении, чем о маршировке, и никогда не выставляет на вид, что логика, главный источник его сил, только по забывчивости до сих пор еще не сведена на очную ставку с законом инерции, одним из выражений которого она есть, была и будет. Но давно известно, что все люди питают слабость к высоким словам...

Я далеко не исчерпал всех привычек и вкусов ученого человека, но, полагаю, сказанного достаточно. Очевидно, он клеветает на себя, утверждая, что у него нет «души» и страстей, что он весь воплощенное стремление к отвлеченной истине, что его «убеждения» не коренятся в его психологии и что Шекспир не должен быть привлечен к обсуждению вопроса о законе причинности, философ боится, радуется, любит, ненавидит, устает, потягивается, дремлет, даже спит – совсем, как обыкновенные смертные, хотя имеет привычку употреблять слова и термины, непонятные и как будто бы даже чуждые непосвященным, даже для обозначения самых повседневных, чуть ли не физиологических своих отправлений. Основные предпосылки философии, ее аксиомы, стало быть, отнюдь не должны быть принимаемы за объективные утверждения. Спокойствие, ровность, холодность, равнодушие – тоже человеческие черты, которые, может быть, и способствуют приближению к истине, а, может быть, порождают неповоротливость и тяжеловесность, навсегда прикрепляющие человека к привычному месту и заранее осуждающие его на прочные и почтенные, но близорукие и ошибочные суждения. Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готов ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше. Он должен уметь держаться прямо и глядеть на небо, но он же должен, когда нужно, не побрезгать согнуться в три погибели и искать истину на земле. Если человек вам скажет: *scire est per causas scire*, [6] можете больше не сомневаться: он уже не существует для философии, и философия не существует для него. Давно пора бросить старые предрассудки и открыто заявить: *per causas scire est nescire*. [7] И тут, пожалуй, Шекспир пригодится. Он расскажет вам, что есть неизвестное, которое никоим образом не может и не должно быть сведено к известному. Что порядок, о котором мечтают философы, существует только в классных комнатах, что твердая почва рано или поздно уходит из-под ног человека, и что после того человек все-таки продолжает жить без почвы или с вечно колеблющейся под ногами почвой, и что тогда он перестает считать аксиомы научного познания истинами, не требующими доказательств, что он перестает их считать истинами и называет ложью. И что мораль, если только можно, не играя словами, назвать моральным его отношение к миру и людям, называет знание по причинам самым несовершенным знанием. Его девиз: апофеоз беспочвенности... Но «философ» давно уже не слушает. Все лучше, чем беспочвенность. Много грязи, пошлости, гадости и глупости в тебе, Германия, –

wenigstens bist du doch festes Land. [8]

Л.Ш.
Часть первая

Zu frugmentarisch ist welt und Leben.
Н. Неине. [9]
1

Дальние улицы жизни не представляют тех удобств, которыми привыкли пользоваться обитатели городских центров. Нет электрического и газового освещения, даже керосиновых фонарей, нет мостовых – путнику приходится идти наугад и в темноте ощупывать дорогу. Если хочешь огня, нужно ждать молнии, либо самому добыть искру тем первобытным способом, какой существовал у наших отдаленных предков: выбить ее из камня. При мгновенном свете вдруг из темноты выступят очертания незнакомых мест: что увидел в одно мгновение – старайся удержать в памяти, ошибочно или правильно было твое впечатление. Второй раз не скоро удастся добыть свет – разве ушибешься лбом о стену и из глаз искры посыпятся. Что можно при таком свете увидеть? И как можно требовать отчетливости и ясности в суждениях от тех людей, которых любознательность (будем думать, что любознательность достаточно в нас сильна) осудила странствовать по окраинам жизни? И как можно их дело приравнять к делу обитателей центров?

2

Закономерность явлений природы считается чем-то столь понятным, само собой

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
разумеющимся, что находят возможным искать ее корни не в реальности действительной жизни, а в характере нашего разума. На самом деле, закономерность явлений природы – самое загадочное из всего того, что нам приходится наблюдать в жизни. Откуда порядок? Почему порядок, а не хаос и беспорядочность? И если бы гипотеза закономерности не приносила с собой столько практических выгод, люди никогда бы не соблазнились возводить ее в сан вечной и непререкаемой истины. Но благодаря ей, оказалось возможным предвидение, *savoir pour prévoir*, [10] а вместе с тем господство над природой, и философы, всегда преклонявшиеся пред успехом, стали наперерыв заискивать у нее и первым делом предложили ей высший титул, каким они располагали – титул вечной истины. Но и этого ей показалось мало: *l'appetit vient en mangeant*. [11] Как старуха в сказке о золотой рыбке, причинность захотела, чтоб сама рыбка была у нее на посылках... Этого уже кой-кто не стерпел – но только кой-кто...

3

Оседлый человек говорит: «Как можно жить без уверенности в завтрашнем дне, как можно ночевать без крова!» Но вот случай навсегда выгнал его из дома, – и он ночует в лесу. Не спится ему: он боится дикого зверя, боится своего же брата, бродяги. Но, в конце концов, он все-таки вернется случаю, начнет жить бродягой и даже, может быть, спать по ночам.

4

Писатель, особенно молодой и неопытный писатель, воображает, что он обязан дать своему читателю самые полные ответы на всевозможные вопросы. И так как добросовестность обыкновенно мешает ему закрывать глаза и игнорировать наиболее мучительные сомнения, то он волей-неволей начинает трактовать о «первых и последних вещах». И не умея сказать на эти темы ничего путного – не молодое это дело вмешиваться в философские споры, – он начинает горячиться и кричать до хрипоты, до изнеможения. Накричавшись досыта, он устает и умолкает, и потом, если его слова имели успех у публики, сам удивляется, как это ему удалось так легко сделаться пророком. В душе посредственного человека рождается при этом только желание до конца дней сохранять свое влияние на людей. Более же чуткие и даровитые натуры начинают презирать и толпу, не умеющую отличать крикунов от пророков, и самих себя за то, что хоть раз в жизни глупая и позорная роль паяца высоких идей могла соблазнить их.

5

Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит... Критон приходит к нему чуть свет и сообщает, что священные корабли не сегодня-завтра вернутся в Афины: Сократ сейчас же готов разговаривать, доказывать... Правда, может быть, не совсем следует доверять Платону. Передают, что Сократ по поводу записанных Платоном диалогов своих заметил: «Сколько этот юноша нагнал на меня». Но ведь все источники согласно показывают, что месяц после своего осуждения Сократ провел в непрерывных беседах со своими учениками и друзьями. Вот что значит быть любимым и иметь учеников! Даже умереть спокойно не дадут... Самая лучшая смерть это та, которая почитается самой худшей: когда никого нет при человеке – умереть далеко на чужбине, в больнице, что называется, как собака под забором. По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовить к страшному, а может быть, и к великому событию. Паскаль, как передает его сестра, тоже много говорил перед смертью, а Мюссе плакал, как ребенок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили, что боялись разрыдаться? Ложный стыд!

6

Бесполезность и ненужность какой-нибудь мысли или даже целого ряда, системы мыслей не может служить достаточным основанием, чтобы отвергнуть их. Раз мысль явилась – открывай ворота. Ибо если ты закроешь ей легальный вход, она ворвется силой или, как крыловская муха, проползет тайком: мысль не считается с законами чести и морали. Пример: реализм в литературе. При своем появлении он вызвал всеобщее негодование. Зачем нам знать грязь жизни? И точно – незачем; реализм не умел честно оправдать себя. Но так как пройти ему все-таки нужно было, то он, не задумываясь, солгал: сравнил себя с патологией, назвал себя полезным – и добился господства в литературе. Теперь

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
уже все видят, что реализм бесполезен, даже вреден, очень вреден и ничего общего с патологией не имеет, но согнать его с насиженного места не так легко. Давность прошла, и есть *justus titulus*[12] владения.

7

Граф Толстой проповедует неделание... Но, кажется, тут он старается без всякой нужды. Мы в достаточной мере «не делаем». Праздность и именно та праздность, о которой мечтает гр. Толстой, вольная, сознательная, презиращая всякий труд праздность есть характернейшая черта нашего времени, – разумеется, я говорю о высших, обеспеченных классах общества, об аристократии духа, к которой преимущественно и обращается со своим словом гр. Толстой. Мы «пишем книги, рисуем картины, сочиняем симфонии» – но разве это труд? Это только видимость труда, развлечение от праздности, так что гр. Толстой гораздо правее, когда, забывая проповедь неделания, он начинает требовать от нас, чтобы мы по крайней мере часов 8 в день ходили за плугом. Это требование имеет смысл. Праздность портит нас. Мы возвращаемся к первобытнейшему состоянию наших предков, Адама и Евы, и, не имея нужды в поте лица заботиться о дневном пропитании, все норовим рвать плоды с запретных деревьев. И, разумеется, несем соответственное наказание. Божеские законы неизменны: в раю разрешается все, кроме любознательности, – даже труд, хоть там он не обязателен, так как предназначается, собственно, для изгнанников из рая. Гр. Толстой это понял: о неделании он заговорил только на минуту – и стал трудиться. Ибо в правильном, постоянном, ровном, ритмическом труде, производителен ли он, или только кажется производительным, как у гр. Толстого его хлебопашество, залог душевного мира. Примером тому могут служить немцы, которые не только начинают, но и кончают день благословением. В раю же, где нет труда и, соответственно этому, нет потребности в послетрудовом отдыхе и долгом сне, все соблазны становятся заманчивыми. Там опасно жить... Может быть, современные праздные люди предугадывают райское состояние? Там, где не будет труда, не будет правильности, ровности, спокойствия, удовлетворения. Там нельзя будет предвидеть даже знающему, там *savoir pour prévoir* никому не будет нужно, там наша наука будет предметом насмешек? Уже и теперь ей многие, разумеется, из нетрудящихся, праздных людей – удивляются. Но многие, преимущественно немцы, еще защищают априорные суждения на том основании, что без них невозможна современная наука, правильная смена явлений и предвидение...

8

Для того чтобы вырваться из власти современных идей, рекомендуется знакомиться с историей: жизнь иных народов, в иных странах и в иные времена научает нас понимать, что считающиеся у нас вечными идеи суть только наши заблуждения. Еще один шаг: нужно представить себе человечество живущим не на земле, и все земные вечные идеи потеряют свое обаяние.

9

Мы не можем ничего знать о последних вопросах нашего существования и ничего о них знать не будем: это – дело решенное. Но отсюда вовсе не следует, что каждый человек обязан принять как *modus vivendi*[13] какое бы то ни было из существующих догматических учений или даже имеющих такой скептический вид позитивизм. Отсюда только следует, что человек волен так же часто менять свое «мировоззрение», как ботинки или перчатки, и что прочность убеждения нужно сохранять лишь в сношениях с другими людьми, которым ведь необходимо знать, в каких случаях и в какой мере они могут на нас рассчитывать. И потому «как принцип» – уважение к порядку извне и полнейший внутренний хаос. Ну, а для тех, кому трудно выносить такую двойственность, можно учреждать порядок и внутри себя. Только не гордиться этим, а всегда помнить, что в этом сказывается человеческая слабость, ограниченность, тяжесть.

10

Уже пифагорейцы предполагали, что солнце неподвижно и что земля движется. Как долго пришлось истине ждать своего подтверждения!

11

Вопреки Эпикуру и его негодованию, мы, в конце концов, принуждены сказать

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
себе, что все, что угодно, может произойти из всего, чего угодно. Это не значит, что и в самом деле камень когда-либо обращался в хлеб или что из туманных пятен мог «естественно» возникнуть видимый мир. Но мы в своем уме и в своем опыте не находим решительно ничего, что бы давало нам основание хоть сколько-нибудь ограничивать произвол в природе. Если бы действительность была иной, чем теперь, она бы оттого не стала нам казаться менее естественной. Иными словами: может быть, в человеческих суждениях о явлениях есть элементы и необходимые, и случайные, но, несмотря на все попытки, мы до сих пор не нашли и, по-видимому, никогда не найдем способа отделять первые от последних. Сверх того, мы не знаем, какие из них более существенны и важны. Отсюда вывод: философия должна бросить попытки отыскания *veritates ?tern?*. [14] Ее задача научить человека жить в неизвестности – того человека, который больше всего боится неизвестности и прячется от нее за разными догматами. Короче: задача философии не успокаивать, а смущать людей.

12

Когда человек замечает в себе какой-нибудь недостаток, от которого он никакими способами не может избавиться, – ему ничего больше не остается, как объявить этот недостаток качеством. И чем серьезнее и значительнее недостаток, тем настоятельнее сказывается потребность облагородить его. От смешного до великого тоже только один шаг, и неискоренимый порок у сильных людей всегда переименовывается в добродетель.

13

Метафизика, в сущности, мало чем отличается от позитивизма. И тут, и там – закрытые горизонты, только иначе разрисованные и раскрашенные. Позитивизм любит серую бесцветную краску и простой, ординарный рисунок; метафизика предпочитает светлые, блестящие краски, сложный узор и всегда разрисовывает свое полотно под бесконечность, что, при знании законов перспективы, ей нередко удается. Но полотно ее достаточно прочно, и через него никакими ухищрениями не пробраться в «иной мир». Тем не менее, художественные перспективы сами по себе очень заманчивы, так что все-таки у метафизиков есть из-за чего ссориться с позитивистами.

14

Задача писателя: идти вперед и делиться с читателями своими новыми впечатлениями. Так что в сущности, вопреки принятому мнению, он совсем и не обязан доказывать что-либо. Но ввиду того, что по пути к нему пристают всякого рода полицейские агенты – вроде морали, логики, науки и т. п., – нужно иметь всегда наготове известного рода аргументацию, чтоб отвязаться от назойливых охранителей. Причем о качестве аргументации можно и не слишком заботиться. Ведь нет никакой надобности быть «внутренне правым». Вполне достаточно, если заготовленные соображения покажутся убедительными тем, которые поставлены охранять пути.

15

Тайна «внутренней гармонии» Пушкина. – Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного. Даже больше: все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться – еще лучше верить. Весело, «обув железом ноги», мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поссориться с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом, вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», – говорит он, и кажется, что слово «страдать», так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову «умирать». Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова «мыслить и страдать», служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем: «Опасность опасна для других, а не для меня». В этом тайна его гармонических настроений.

16

Нужно взрывать убитое и утопанное поле современной мысли. Потому во всем, на каждом шагу, при случае и без всякого случая, основательно и неосновательно следует осмеивать наиболее принятые суждения и высказывать парадоксы. А там

– видно будет.

17

Что такое мировоззрение? – как известно, Тургенев был реалистом и с первых же своих произведений стремился возможно правдиво изображать жизнь. Хотя у нас не было настоящих теоретиков реализма, но после Пушкина русскому писателю нельзя было слишком далеко уноситься от жизни. Даже тем, кто решительно не знал, что можно сделать из «действительности», приходилось говорить о ней и только о ней. Для того же, чтоб впечатление от нарисованных картин не было слишком тягостным – писатель старался припасти заблаговременно мировоззрение, которое в литературе еще до сих пор играет роль волшебного жезла: с его помощью все, что угодно, может обратиться во все, что угодно.

Большинство тургеневских произведений в этом смысле чрезвычайно любопытны. Но особенно интересным представляется «дневник лишнего человека». Тургенев впервые ввел в русскую литературу выражение «лишний человек». Потом о лишних людях говорили много, бесконечно много, хотя и до настоящего времени так же мало до чего договорились, как и пятьдесят лет тому назад. Лишние люди есть – и сколько еще, а что с ними делать – неизвестно. Остается одно: изобретать по поводу них мировоззрения. В 1850 году Тургенев, тогда еще молодой человек, так именно и разрешил представившуюся ему задачу. Свой рассказ он заканчивает юмористической припиской от имени неизвестного читателя рукописи:

Сею рукопись читал
И содержание Онной не одобрил
Петр Зудотешин
М М М М
Милостивый Государь
Петр Зудотешин
Милостивый Государь Мой.

Очевидное дело, Тургенев держался того мнения, что за каждой трагедией должен следовать водевиль, и что в этом сущность мировоззрения. Не менее очевидно, что в своем суждении Тургенев не стоит одиноко, а имеет за собой всю европейскую цивилизацию. Тургенев был образованнейшим, культурнейшим из русских писателей. Почти всю жизнь свою он провел за границей и впитал в себя все, что могло дать западное просвещение. Он сам это знал, хотя по свойственной ему преувеличенной скромности, иногда даже раздражающей своей демонстративностью, никогда об этом прямо не говорил. Он глубоко верил, что только знание, т. е. европейская наука, может открыть человеку глаза на жизнь и объяснить все, требующее объяснения. С этим критерием он подходит и к гр. Толстому: «Самый печальный пример отсутствия истинной свободы, – пишет уже почти 60-летний Тургенев в своих литературных воспоминаниях, – отсутствия истинной свободы, проистекающего от отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого („Война и Мир“), которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что появилось в нашей литературе с 1840 г. Нет! Без образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям, даже к своему народу, к своей истории – немислим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя». Послушать Тургенева – и в самом деле подумаешь, что он добыл на Западе великую тайну, дававшую ему право бодро и спокойно держаться в тех случаях, когда другие люди приходят в отчаяние и теряют голову... Через год после того, как были написаны литературные воспоминания, из которых взяты мною вышеприведенные строки о Толстом и образовании, Тургеневу пришлось лично присутствовать при казни знаменитого когда-то убийцы Тропмана. Свои впечатления он бесподобно передает в большой статье, называющейся «Казнь Тропмана». Статья производит потрясающее действие – мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это одна из лучших, по крайней мере, сильнейших его вещей. Правда, гр. Толстому удалось с неменьшей же силой описать сцены на бойне, так что, может быть, читателю, имея это в виду, не следует слишком отдаваться во власть художнику. Но все-таки, когда Тургенев рассказывает, что в решительный момент, когда палачи, точно пауки на муху, набросились на Тропмана и повалили его, когда он рассказывает, что в этот момент у него «земля тихо поплыла под ногами» – не верить ему нельзя. Люди мало умеют отзываться на происходящие вокруг них ужасы, но бывают минуты, когда дикая, вопиющая несообразность и обидность нашего положения вдруг предстает пред нами с неотразимой ясностью и заставляет нас смотреть на себя. И тогда почва уходит из-под наших ног. Но ненадолго. Ужас от чувства беспочвенности

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
быстро отрезвляет человека. Забыть все – только бы вернуться к родной земле! Тургенев, 60-летний старик, оказался в этом смысле столь же пугливым, как и в молодые годы, когда писал свой «дневник лишнего человека». Описание казни Тропмана он заканчивает следующими словами: «Кому неизвестно, что вопрос о смертной казни есть один из очередных, неотлагаемых вопросов, над разрешением которых трудится современное человечество? Я буду доволен... если рассказ мой доставит хоть несколько аргументов защитникам отмены смертной казни или, по крайней мере, отмены ее публичности». Снова гора родила мышь! После трагедии дается водевиль, мировоззрение вступает в свои права, и почва возвращается под ноги. Повторяю и подчеркиваю: Тургенев не является единственно ответственным лицом за свои суждения. Его устами говорит вся европейская цивилизация. Она принципиально отвергает всякого рода неразрешимые вопросы и выработала своим тысячелетним опытом приемы, посредством которых человек научается извлекать пользу из всего, даже из крови своего ближнего. Словом «польза» объясняются какие угодно ужасы и даже преступления. А Тургенев был, как известно, мягким, «гуманным» человеком и несомненным идеалистом: в молодости он даже прошел школу Гегеля. От Гегеля узнал, какое громадное значение имеет образование и как необходимо образованному человеку иметь полное и законченное, непременно законченное, «мировоззрение».

18

Хвалить самого себя считается предосудительной нескромностью, хвалить свою партию, свою философию, свое мирозерцание – почитается чуть ли не высшим долгом. И даже лучшие писатели по крайней мере столько же заботились о прославлении своего мирозерцания, сколько об его «обосновании» – причем в первом деле всегда успевали больше, чем во втором. Доказаны или не доказаны их идеи – они самое нужное, что бывает в жизни: в горе они утешительницы, в трудном положении – умные соответчицы. С ними и умирать не страшно – они пойдут и за могилу с человеком в качестве единственного на земле нетленного богатства. Все это философы говорили о своих идеях – и очень красноречиво говорили, не хуже, чем адвокаты о своих клиентах, ворах и мошенниках. А между тем о философах еще никто ни разу не сказал: нанятая совесть. Почему?

19

Некоторые дикари верят, что их цари не нуждаются в пище и никогда ничего не едят и не пьют. На самом деле, цари едят и пьют, и даже любят поесть и попить больше, чем обыкновенные смертные, так что им не хочется даже ради приличия слишком долго воздерживаться, и они нередко прерывают затянувшиеся религиозные церемонии, чтоб подкрепить свое брненное тело. Но этого никто не должен видеть, об этом никто не должен знать, и потому царя каждый раз, когда ему захочется есть, закрывают от глаз народа пурпуровым покрывалом. Метафизики напоминают мне этих диких царей. Они хотят, чтоб все думали, что эмпиризм, т. е. вся действительность, для них не существует, что им нужны одни только чистые идеи. И чтоб поддержать эту фикцию, они являются на люди не иначе, как облаченные в пурпур высоких слов. Толпа отлично знает, что ее обманывают, но так как ей нравятся пышные зрелища и яркие цвета, с одной стороны, а с другой, у ней мало тщеславия и желания прослыть пронизательной, то она редко показывает, что понимает смысл комедии. Наоборот, она охотно прикидывается одураченной, чуя инстинктом, что актеры тем старательней исполняют свои роли, чем прочней в них живет убеждение, что их игра принимается за серьезное и настоящее дело. Только неопытные юноши и дети, не понимающие всего великого значения условности в этом мире, от времени до времени начинают с негодованием стыдить и обличать актеров – подобно ребенку в известной андерсеновской сказке, так неожиданно и некстати разрушившему всеобщую добровольную иллюзию своим криком «да король ведь гол». Ведь и без него все знали, что король гол, что метафизики не только не умеют ничего объяснить, но до сих пор не придумали ни одной свободной от противоречия гипотезы. Но говорить об этом вслух не полагается. Нужно верить, что цари дикарей ничего не едят, что философы проникли в тайны мира, что идеи ценней эмпирических благ и т. д., и т. д. Остается вопрос: взрослых можно склонить к условной лжи, но как быть с детьми? Тут единственное средство – столь прославленная Гегелем пифагорейская система воспитания. Дети до тех пор должны молчать и не возвышать голоса, пока не поймут, что не обо всем можно говорить. У нас так и практикуется. У нас ученики молчат, долго молчат, не пять лет, как того требовали пифагорейцы, а десять и более – до тех пор, пока не научатся говорить, как их учителя. Потом им предоставляется свобода, которой они не хотят, да и не умеют уже воспользоваться. Может быть, у них и были или по

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
крайней мере могли вырасти крылья, но они всю жизнь свою, подражая учителям, ползали по земле – где уж им теперь мечтать о полете! Культурного, много учившегося человека мысль о возможности оторваться хотя бы на мгновение от земли приводит в ужас – как будто бы ему было заранее известно, к каким это приведет результатам.

20

лучший и убедительнейший способ доказательства – начать свои рассуждения с безобидных, всеми принятых утверждений. Когда подозрительность слушателя достаточно усыплена, когда в нем даже родилась уверенность, что вы собираетесь подтвердить любимейшие его идеи – тогда наступил момент открыто высказаться, но непременно как ни в чем ни бывало, спокойным тоном, тем же, которым говорились раньше трюизмы. О логической связи можно не заботиться. На человека обыкновенного гораздо более действует последовательность в интонации, чем последовательность в мыслях. Так что если вам только удастся, не нарушив тона, вслед за рядом банальностей и общих мест, высказать заготовленное ранее подозрительное и непринятое мнение, ваше дело сделано. Читатель не только не забудет ваших слов – он будет ими терзаться, мучиться, пока не согласится с вами.

21

Привычка к логическому мышлению убивает фантазию. Человек убеждается, что есть только один путь к истине через логику, и свернуть с него – значит идти наверняка к нелепости. Вне логики все – заблуждение, которое становится тем более роковым, чем ближе мы подходим к последним вопросам бытия. Здесь ариаднин клубок логики уже давно весь размотался, но нить крепко держит человека, не пуская его вперед. Он начинает топтаться на одном месте, нimalo не подозревая, что попал в такое глупое положение благодаря принятым им излишним мерам предосторожности. Он боялся заблудиться! Но тогда лучший способ – оставаться дома. Раз вышел в путь, хочешь быть Тезеем и убить Минотавра, нужно перестать слишком дорожить безопасностью и быть готовым никогда не выйти из лабиринта. Правда, рискуешь потерять Ариадну, – оттого-то в дальний путь следует собираться лишь после того, когда семейные радости успели уже опостылеть. Тогда нарочно порвешь нить, которая привязывает тебя к очагу, чтоб иметь пред совестью законный предлог не возвращаться домой. Философия с логикой не должна иметь ничего общего; философия есть искусство, стремящееся прорваться сквозь логическую цепь умозаключений и выносящее человека в безбрежное море фантазии, фантастического, где все одинаково возможно и невозможно. Разумеется, с привычками к соседству трудно быть хорошим философом – и то обстоятельство, что судьбы философии всегда находились в руках профессоров, может быть объяснено исключительно нежеланием завистливых богов дать смертным всеведение. Пока оседлые люди будут искать истины – яблоко с дерева познания не будет сорвано. За это дело должны взяться бездомные авантюристы, природные кочевники, для которых *ibi patria, ubi bene*. [15] Я думаю, что если бы не семья и семейные привычки, гр. Толстой, доживший до такой глубокой старости, рассказал бы нам много важного и интересного... А может быть, если бы он не женился, он, как Ницше, дошел бы до безумия. Направо поехать – женатому быть, налево – убитому быть. Средней дороги философ никогда не избирает, богатство ему не нужно, он не знает, что делать ему с деньгами. Но пойдет ли он направо или налево, в обоих случаях его не ждет добро.

22

Поскребите русского, и вы найдете татарина. Культурность – наследственный дар, и сразу привить ее себе почти никогда не удастся. К нам, в Россию, цивилизация явилась вдруг, когда мы были еще дикарями, и сразу стала в позиции укротительницы, действуя сперва приманками, а потом, когда почувствовала свою власть, и угрозами. Мы поддались быстро и в короткое время огромными дозами проглотили то, что европейцы принимали в течение столетий, с постепенностью, приучающей ко всякого рода ядам, даже самым сильным. Благодаря этому, пересадка культуры в России оказалась совсем не невинным делом. Стоило русскому человеку хоть немного подышать воздухом Европы, и у него начинала кружиться голова. Он истолковывал по-своему, как и полагалось дикарю, все, что ему приходилось видеть и слышать об успехах западной культуры. Ему говорили о железных дорогах, земледельческих машинах, школах, самоуправлении, а в его фантазии рисовались чудеса: всеобщее счастье, безграничная свобода, рай, крылья и т. д. И чем

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
несбыточней были его грезы, тем охотнее он принимал их за действительность. Как разочаровался западник Герцен в Европе, когда ему пришлось много лет подряд прожить за границей! И ведь он, несмотря на всю остроту своего ума, нисколько не подозревал, что Европа менее всего повинна в его разочаровании. Европа давным-давно забыла о чудесах: она дальше идеалов не шла; это у нас в России до сих пор продолжают смешивать чудеса с идеалами, как будто бы эти два ничего общего меж собой не имеющие понятия, были совершенно однозначными. Ведь наоборот: именно оттого, что в Европе перестали верить в чудеса и поняли, что вся человеческая задача сводится к устройению на земле, там начали изобретать идеалы и идеи. А русский человек вылез из своего медвежьего угла и отправился в Европу за живой и мертвой водой, ковром-самолетом, семимильными сапогами и т. п. вещами, полагая в своей наивности, что железные дороги и электричество – это только начало, ясно доказывающее, что старая няня никогда не говорила неправды в своих сказках... И как раз это случилось в то время, когда Европа навсегда покончила с астрологией и алхимией и вышла на путь положительных изысканий, приведших к химии и астрономии.

23

Общее предположение всякой метафизики: диалектическим развитием какого-нибудь понятия можно прийти к построению целой системы. На самом деле уже первый вывод бывает обыкновенно ложным – о дальнейших и говорить нечего. Но так как ложь в области отвлеченных понятий чрезвычайно трудно отличить от истины, то часто метафизические системы имеют очень убедительный вид. Их главный недостаток вскрывается только случайно: когда у человека притупляется вкус к диалектической игре ума – он, как Тургенев, под конец жизни внезапно убеждается в ненужности философских построений. Рассказывают, что какой-то математик, прослушавши музыкальную симфонию, спросил: «Что она доказывает?» Разумеется, ничего не доказывает, кроме того, что у математика не было вкуса к музыке. Тому, у кого нет вкуса к диалектике, метафизика тоже не может ничего доказать. Поэтому людям, заинтересованным в успехах метафизики, нужно всегда поддерживать в обществе убеждение, что вкус к диалектике делает честь человеку, свидетельствуя о возвышенности его души.

24

Человек привык иметь убеждения, это – факт. Все мы не можем обойтись без приживальщиков, хотя в глубине души и презираем их.

25

Сократ и Платон стремились под вечно изменяющейся видимостью найти постоянную, неизменную сущность. В платоновских «идеях» и воплотилось это стремление. Видимая, никогда себе не равняющаяся, принимающая миллионы разнообразных форм действительность – не есть истинная реальность. То, что реально, должно быть постоянно. Оттого-то идеи предметов реальны, сами же предметы фиктивны. Таким образом, корнем платоновского мировоззрения является основной недостаток человеческого мышления – недостаток, признанный за высшее достоинство. Философу трудно уследить за волнующеюся, капризной жизнью, и он решает, что это не жизнь, а фикция. Диалектика властна только над общими понятиями – и общие понятия возведены в идеал. Со времен Платона и Сократа наибольший успех имели именно те философы, которые учили людей отдавать преимущество неизменному, всегда себе равному, пред изменчивым и непостоянным. Обыкновенные люди, живущие бессознательно, т. е. никогда не подводившие итогов своим душевным расходам и приходам, всегда смотрели на философов, как на своих добровольных бухгалтеров. Еще афинское юношество с любовным интересом следило за тем, как искусно Сократ доискивался посредством своей диалектики затерянных всеми «последних оснований» человеческих поступков. В бухгалтерии, как известно, ни одна копейка не должна исчезать бесследно, и Сократ оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Равенство между активом и пассивом человека получалось у него идеальное. Может быть, в этом и секрет того странного обстоятельства, что столь беспорядочные и неуравновешенные натуры, как Алкивиад, всей душой привязывались к Сократу. Алкивиад давно потерял счет своему состоянию, и оттого от времени до времени ему приходилось обращаться к Сократу, который своими речами и рассуждениями вносил в душевный хаос своего молодого друга порядок и гармонию: Алкивиад отдыхал с Сократом. Разумеется, отдыхал с тем, чтобы потом опять начать свою бурную жизнь: отдых бывает так сладок утомленному человеку! Но выводить отсюда, что отдых нужен всем и, главное,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
всегда, разве может быть что-нибудь более нелепое? Сократ же именно так смотрел на свои идеи. Он хотел, чтобы люди всегда отдыхали и видели в отдыхе высшую цель жизни. Нам легче судить о Сократе благодаря тому, что у нас есть гр. Толстой. Вероятно, физиономист Зофир сказал бы о Толстом то же, что он говорил о Сократе, что в нем кроется много дурных наклонностей. Зофира не было, но Толстой сам рассказал о себе, какой он дурной человек и как ему приходилось бороться с собой. Толстой по своей природе человек не слишком смелый; только долгим упражнением воли он приучил себя к храбрости. Как боялся он в молодости смерти! И как он умел скрывать свою боязнь! И потом, в зрелом возрасте, когда он писал свою исповедь, главным вдохновителем его был страх смерти. Он побеждал в себе этот страх и все другие страхи, и думал, что так как победить в себе страх очень трудно, то уметь не бояться опасности много лучше, чем бояться. А между тем – кто знает? может быть, «трусость», бедная, жалкая, так оклеветанная, подпольная трусость вовсе уже не такой порок. Может быть даже добродетель! Вспомните Достоевского и его героев, вспомните Гамлета. Если бы подпольный человек ничего не боялся, если бы Гамлет по своей природе был гладиатором, у нас бы до сих пор не было бы ни трагической поэзии, ни философии. Как известно, страх смерти был всегда вдохновителем философов, – если бы нужно было, я бы мог в доказательство привести сколько угодно цитат из древних и новых авторов. Может быть, поэтический демон Сократа, сделавший его мудрецом, был только олицетворенным страхом. Или его предостерегающие сны! То, чем он переволновался и перемучился днем, не оставляло его и ночью. Уже после приговора Сократу приснилось, что ему следует заниматься искусствами, и чтобы не восстановать против себя богов, он в 70 лет начал сочинять стихи. Толстой тоже в 50 лет стал заниматься добрыми делами, о которых прежде не хотел и думать. Если бы в наше время было принято выражаться мифологически, он бы тоже, может быть, рассказал нам о своем демоне или снах. Но Толстой говорит научным языком и сводит счеты с моралью, а не с богами и демонами. Многие современные Алкивиады, в течение шести дней недели купающиеся в мутных волнах жизни, приходят по воскресеньям омыться в чистой воде незапятнанных толстовских идей. Бухгалтерия довольствуется этим скромным успехом и воображает, что если раз в неделю она обращает на себя всеобщее внимание, то значит, что она есть сущность жизни и что, кроме нее, больше ничего человеку не нужно. С таким же правом содержатели бань могли бы из того, что к ним по субботам собирается так много народа, заключить, что в течение недели не нужно делать никаких движений, чтоб не потеть и всегда оставаться чистым – точно сейчас из бани.

26

У одного старинного французского писателя, современника Паскаля, я встретил следующие замечательные слова:

«L'homme est si miserable que l'inconstance avec laquelle il abandonne ses desseins, est, en quelque sorte, sa plus grande vertu; parce qu'il temoigne par la qu'il y a encore en lui quelque reste de grandeur qui le porte a se degouter de choses qui ne meritent pas son amour et son estime». [16] Как далеко ушла современная мысль даже от возможности такого рода предположений! Считать непостоянство высшей человеческой добродетелью! Ведь чтоб добиться чего-нибудь на земле – нужно уметь всего себя, всю жизнь свою отдать служению одной цели. Чтоб стать виртуозом, артистом, мастером своего дела, нужно с истинно ангельским или ослиным терпением десятки, сотни, тысячи раз перепробовать разные приемы выражения своих мыслей и настроений и не жалеть ни труда, ни времени, ни здоровья. Все должно быть на втором плане; на первом – искусство. У Гончарова превосходно рассказано в «Обрыве» о том, как виолончелист целый день бился, точно рыба об лед, чтоб потом, к вечеру сыграть хорошо. И это обыкновенная вещь. Постылый, скучный, раздражающий труд – есть условие развития гения. Оттого, верно, люди так редко добиваются чего-нибудь. Гений должен согласиться культивировать в себе осла – это условие так унижительно, что на него человек идет только в крайнем случае. Большинство предпочитает середину между посредственностью и гением – талант. Не всякому охота менять всю жизнь свою на искусство. А сколько раз гений под конец своей карьеры раскаивается в своем выборе! «Лучше было не удивлять мир и жить в этом мире», – говорит Ибсен в последней своей драме. Гений – жалкий и слепой маньяк, которому прощаются все его странности ввиду приносимой им пользы. И все-таки мы все поклоняемся настойчивости и гению – единственному богу, в которого еще верит современность, и похвальное слово непостоянству вряд ли найдет в ком-либо из наших современников сочувствие. Вероятно, даже не примут его всерьез.

27

Очень часто мы высказываем представляющееся нам сомнительным суждение в категорической форме и даже настаиваем на его несомненности. Мы хотим посмотреть, в какой степени вызовет оно возражения у людей, – а это можно узнать только в том случае, если суждения предъявляются не как предположения, с которыми никто не считается, а как истина, непререкаемая и общеобязательная. И чем большее значение имеет для нас какое-нибудь предположение, тем тщательнее скрываем мы от других его проблематичность.

28

Литература трактует всегда труднейшие и важнейшие вопросы нашей жизни, и на этом основании литераторы считают себя самыми значительными людьми. С таким же основанием могли бы прислужники банкира, всегда снующие около денег, считать себя миллионерами. Значительность непонятых и неразрешенных вопросов скорей должна была бы дискредитировать в наших глазах писателей, но они так хорошо умеют говорить о себе и о своей высокой миссии, что в конце концов убеждают всех и, главное, самих себя. Тут, впрочем, не последнюю роль играет и душевная ограниченность. Римские авгуры имели более тонкий и гибкий ум, чем современные литераторы: чтоб обманывать других, им не нужно было обманывать себя. Они в своем кругу не боялись говорить о своей тайне и даже забавляться ею – в полной уверенности, что пред другими, если потребуется, им нетрудно будет оправдаться и сделать соответственное случаю торжественное лицо. А теперь писатель, какую бы невероятность он ни вздумал рассказывать публике, предварительно старается убедить себя. Иначе он не может говорить (лгать).

29

«Писатель пописывает, читатель почитывает» – Щедрин очень обижало такое положение вещей. Он бы хотел, чтоб было иначе: чуть только писатель сказал слово – читатель сейчас же на стену. Но читатель вовсе не так прост, как это принято думать: он предпочитает оставаться спокойным и требует, чтоб сам писатель на стену лез. Оттого-то у публики имеют обыкновенно успех только те авторы, которые пишут «кровью своего сердца». Условные турниры, даже самые пышные, никогда не привлекают ни большой публики, ни, тем паче, знатоков искусства. Люди бегут смотреть на бой гладиаторов, где их ждет зрелище настоящей, горячей, дымящейся крови, где будут действительные, а не воображаемые жертвы.

И многие писатели, как истинные гладиаторы, проливают свою кровь, чтоб угодить Цезарю – толпе: *salve, C?sar, morituri te salutant!* [17]

30

А. П. Чехов говорит правду не из любви или уважения к «истине» и не в силу того, что долг повелевает нам, как думал Кант, никогда не лгать, даже если бы грозила смерть.

Нет у него и побуждения, столь часто толкающего на безумную дерзость молодые и пылкие души: выпрямиться во весь рост, высоко нести голову. Наоборот, Чехов всегда ходит сгорбившись, понурив голову и никогда не обращает взоров к небесам, ибо там для него не начертаны знамения. Если он говорит правду, то только потому, что самая крепкая ложь уже не опьяняет его, хотя бы он ее принимал не в тех скромных дозах, в каких ее предлагает идеализм, а в самом непомерном количестве – бочками сороковыми.

Он бы только чувствовал ее горечь, но она не могла бы ему вскружить голову, как Шиллеру, Достоевскому или даже Сократу, который, как известно, мог пить сколько угодно вина, но хмелел от самой обыкновенной лжи.

31

Noblesse oblige. [18] Момент обязательности, принудительности, долга, выдвинутый Кантом, как существенный, чуть ли не единственный предикат моральных понятий, в конце концов, служит лишь указанием на то, что он в себе самом и в людях, к которым он обращался – Кант был скромным человеком и даже в глубине души не делал различия меж собой и другими – видел только существа, подлежащие облагораживающему действию нравственности. *Noblesse*

oblige – формула не для родового дворянства, умеющего видеть в своих обязанностях свои главные привилегии, а для образованных, разбогатевших выскочек, алчущих приобрести знатный титул. Они привыкли лгать, трусить, обманывать, скаредничать, и их пугает необходимость «бескорыстно» говорить правду, смело идти навстречу опасности, расточать богатства. И они, чтоб не забыть, ежечасно повторяют себе и своим детям, в жилах которых еще течет кровь их лгавших и пресмыкавшихся отцов: «Ты не должен лгать, ты не должен трусить, ты должен быть великодушным, щедрым». И все это непременно бескорыстно, так чтобы никому ничего не было известно. Это глупо, непонятно, нелепо – но «noblesse oblige».

32

Ното homini lupus [19] – одна из незыблемейших предпосылок вечной морали. В каждом из своих ближних мы подозреваем опасного врага и потому боимся его. «Этот человек легкомыслен, – если мы не обуздаем его законом, он нас погубит», – такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи.

Опасение справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить! как же нам не бояться? А между тем, нередко под опасными и грозными поступками кроется нечто значительное и важное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики, мы видим опасность и только опасность – и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, отсиживаемся всю жизнь от врагов. Только поэты брались воспевать опасных людей – Дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но с поэтами никто не считается. Здравый смысл ценит гораздо выше комивояжера или приват-доцента, чем Байрона, Гете и Мольера.

33

Возможности, открывающиеся человеку в жизни, сравнительно очень ограничены. Нельзя всего увидеть, нельзя все понять, нельзя ни подняться слишком высоко над землей, ни проникнуть в ее глубину. Что было – навсегда скрыто, что будет – мы не умеем предугадать и наверное знаем, что у нас никогда не вырастут крылья. Закономерность, неизменная закономерность явлений полагает предел нашим стремлениям, загоняет нас на узкий, избитый путь обыденности. Но даже и этот путь не дано нам исходить вдоль и поперек. Мы должны зорко глядеть себе под ноги и на каждом шагу останавливаться, ибо малейшая неосторожность в жизни грозит нам гибелью. Но ведь мыслима и иная жизнь. Жизнь, в которой слово «гибель» не существует, где ответственность за поступки если и не отменена совсем, то не имеет столь рокового и случайного характера, как у нас, и где, с другой стороны, нет «закономерности», а стало быть, есть бесконечное количество возможностей. Там чувство страха – позорнейшее чувство – исчезает. Там, стало быть, и добродетели совсем не те, что здесь. Бесстрашие пред опасностью и щедрость, даже расточительность и у нас почитаются добродетелями, но почитаются без всяких оснований. Сократ был совершенно прав, когда доказывал, что не всякая храбрость, а только храбрость, измеряющая вперед опасность и шансы победы, имеет свое оправдание. В такой же мере правы и те экономные, расчетливые люди, которые осуждают расточительность. Бесстрашие и расточительность не к лицу смертным, которым прилично, ввиду их бессилия и бедности, всегда трепетать и считать каждый свой грош. Оттого-то эти две добродетели так редко встречаются между людьми, и в тех случаях, когда встречаются, вызывают в толпе суеверное благоговение к их носителям. «Этот человек ничего не боится и ничего не жалеет: он, верно, не человек, а полубог, даже, быть может, бог». Сократ не верил в богов и потому хотел оправдать расчетом добродетель. Кант тоже не верил в Бога и потому выводил свою мораль из «закона». Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть.

Тогда безумно расточающий свою и чужие жизни и благосостояние, даже свое дарование, свой гений человек правее расчетливых философов, тщетно ищущих устроения человечества на земле.

34

Нравственные люди – самые мстительные люди, и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
ними все люди восстали на осужденного ими, чтоб даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам.

35

Закоренелость во зле. Еретиков часто преследовали за ничтожнейшие отступления от господствующих верований. Именно их упорство в пустяках более всего и раздражало. «Отчего они не соглашаются на такую пустую уступку? Серьезных оснований у них не может быть. Они только хотят огорчать нас, делать нам назло». Постепенно вражда шла crescendo, и появлялись костры и пытки, все против закоренелости во зле...

36

Не помню, где я вычитал, у Тургенева или у Толстого, что люди, побывавшие под судом, всегда приобретают особенно благородное выражение лица. Хотя логика и рекомендует осторожность в обратных заключениях, но, куда ни шло, на этот раз позволю себе рискнуть и сделать вывод: благородное выражение в лице есть признак того, что человек побывал под судом – разумеется, не за политическое преступление, а за воровство или взяточничество.

37

Самые важные и значительные мысли, откровения являются на свет голыми, без словесной оболочки: найти для них слова – особое, очень трудное дело, целое искусство. И наоборот: глупости и пошлости сразу приходят наряженными в пестрые, хотя и старые тряпки – так что их можно прямо, без всякого труда, преподнести публике.

38

Странное нетерпение овладело в последнее время русскими писателями. Все взапуски пустились за «последним словом». Им кажется, что последнее слово будет наверное добыто – вопрос лишь в том, кто скорее до него добежит...

39

Появление Сократа на философском горизонте приветствуется всеми историками как величайшее событие. Нравы стали расшатываться, отечеству (Афинам) угрожала гибель. Миссия Сократа была в том, чтобы положить конец той отчаянной раскачке моральных суждений, к которой привел крайний индивидуализм и релятивизм софистов. И великий мудрец сделал, как известно, все, что мог. Он покинул свои обычные занятия и семью, он не заботился о завтрашнем дне и учил, учил, учил – простых людей и знатных, умных и глупых, ученых и невежественных. И тем не менее, он отечества не спас. При Перикле Афины процветали без мудрости или независимо от мудрости Сократа. После Перикла, несмотря на то, что учение Сократа нашло себе такого гениального продолжателя, как Платон, роль и значение Афин все падает, и Аристотель был уже воспитателем сына Филиппа Македонского. Значит, мудрость Сократа не спасла отечества, и так как в этом было ее главное назначение, то, стало быть, она не заслуживает традиционного преклонения; нужно либо найти ей какое-нибудь иное оправдание – это было бы правильнее всего, – либо вообще оставить излюбленный прием метафизиков искать *raison d'être*[20] мудрости в ее общественном значении. Это прием очень рискованный. Обыкновенно мудрость идет сама по себе, а общество – само по себе. Их соединяют искусственно – ораторы, приучившие публику и философов думать, что только те задачи заслуживают внимания, которые имеют на своей стороне решительно все: и общественную пользу, и мораль, и даже метафизическую мудрость... Зачем так много? Будет и того, если какой-нибудь новый проект окажется полезным! Где нам еще добиваться санкции морали и метафизики! И наоборот, раз законы морали должны быть автономны и идеи стоят над эмпирическими нуждами человечества, значит, противопоставлять им общественные соображения, даже возможную гибель страны, нельзя. *Pergeat mundus, fiat philosophia.*[21] Если Афины погибли даже из-за мудрости Сократа – это ничего против нее не говорит. Так должен был бы рассуждать автономный мыслитель. Но *de facto*[22] мыслитель не слишком любит ссориться с отечеством.

40

Когда писателю нужно высказать наименее обоснованную мысль свою, которой он почему-либо особенно дорожит и для которой он непременно хочет добиться общего признания, он обыкновенно прерывает на время свое изложение, будто бы затем, чтобы перевести дыхание, и делает небольшое, а иногда и большое отступление, в котором доказывает несостоятельность разных, часто даже не связанных с существом дела положений. Уничтожив победоносно одну или несколько глупостей и тем придав себе вид знающего и основательного человека, он снова возвращается к своей задаче в расчете, что к нему, как к доказавшему свою основательность, уже будут относиться с большим доверием. Расчет вполне правильный. Читатель боится возражать такому ловкому диалектику и предпочитает согласиться с ним, ибо спорить в таких случаях очень рискованно. Такими приемами никто не брезгует – даже величайшие умы, особенно в философии. Оттого идеалисты, прежде чем защищать свои теории, разносят материализм. Материалисты тоже когда-то так поступали и имели, как известно, колоссальный успех.

41

Как известно, последовательность обязательна только для учеников, а не для учителей. Творцы великих идей относятся очень пренебрежительно к своим творениям и мало заботятся об их судьбе в мире. Часто детища одного и того же философа так мало похожи друг на друга, что нет возможности найти меж ними даже отдаленные признаки фамильного сходства. Добросовестные ученики, изнывая под бременем непосильной задачи отыскать несуществующее, не раз приходили в отчаяние от своей задачи. Те, кто поумнее, разрешают ее просто. Раз догадавшись, в чем дело, они навсегда отказываются от мысли примирить замечаемые противоречия. Но тем более настаивают они на необходимости изучения философов – изучения обстоятельного, исторического, даже филологического. Таким образом и создалась история философии, в настоящее время вполне заменяющая философию. И ведь история философии, в самом деле, может быть наукой. Ибо путем исторического изыскания, действительно, нередко удается выяснить с большой степенью точности, что именно думал тот или иной философ, в каком смысле он употреблял различные термины и понятия. И так как философов было очень много, то, стало быть, изучение и объяснение их представляет достаточно трудное и почтенное дело, которое вполне заслуживает называться наукой. За хороший перевод или комментарий к главным трудам Канта можно дать человеку диплом доктора философии, т. е. признать его достаточно проникнувшим в важнейшие мировые проблемы. Для какой надобности еще выдумывать новые системы? Или даже писать?

42

Восторги творчества! Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить о том, что такое творчество, добывшими свое суждение путем умозаключения: если творение доставляет нам такое великое наслаждение, то что же должен был испытать сам творец! На самом деле творец обыкновенно испытывает одни огорчения. Всякое творение есть творение из ничего. В лучшем случае пред нами безобразный, бессмысленный, большей частью упорный и твердый материал, с трудом поддающийся обработке. Да и неизвестно, как его обрабатывать. Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и очаровательной, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие. Оттого-то большинство людей, даже гениальных, а *la longue*[23] не выносят творческой деятельности. Как только они приобретают технику, они начинают повторяться, зная, что публика не слишком требовательна и довольно охотно выносит однообразие любимца, даже видит в этом достоинство. Всякий ценитель искусства доволен, если узнает в новом произведении «манеру» художника, и мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца. Художники это хорошо понимают и рады бы отвязаться от своей манеры, которая уже им представляется шаблоном. Но это требует слишком большого напряжения сил, новых мук, сомнений, неизвестности – кто однажды пережил «восторги творчества», другой раз добровольно ими не соблазнится. Он предпочитает «работать» по прежде созданному шаблону, лишь бы быть спокойным и твердо уверенным в результатах – благо, кроме него никто не знает, что он уже больше не творец. Сколько тайн в мире, и как легко уберечь тайну от нескромных взоров!

43

Писатель взвинчивает себя, чтобы дойти до состояния экстаза: иначе он не берется за перо. Но экстаз не всякий умеет отличать от других, менее возвышенных видов душевного подъема. И так как писателю почти всегда нужно сочинять, то он обыкновенно не имеет терпения долго выжидать и при первых признаках одушевления начинает изливаться. Оттого-то так часто под именем экстаза преподносятся нам дешевые и ничем не замечательные душевные настроения. Особенно легко смешивают с экстазом тот очень распространенный вид весеннего ликования, для которого наш язык изобрел известный меткий эпитет. И, в конце концов, «телячий восторг» встречается у публики более радушный прием, чем истинное вдохновение и глубокий экстаз. Понятней – и ближе.

44

Школьная посылка: последовательный скептицизм сам себя опровергает, ибо отрицание возможности знания есть уже утверждение. Но во-первых: скептицизму не обязательно быть последовательным, ибо он не имеет никакого желания угождать догматизму, возводящему последовательность в закон. Во-вторых, где та философская теория, которая, если ее довести до крайних пределов, не уничтожила бы самое себя? И отчего от скептицизма требуют большего, чем от других теорий, от скептицизма, который честно заявляет, что он не может дать даже того, на что другие теории претендуют?

45

Аристотелевская логика, вошедшая и в современную логику как ее главная составная часть, явилась, как известно, результатом вечных теоретических состязаний, до которых древние греки были такими охотниками. И действительно, для того, чтобы спорить, нужно иметь общую почву, иными словами, условиться о предпосылках. Но в наше время диалектические турниры, как и всякие другие состязания, уже не привлекают людей. Значит, можно логику отодвинуть на второй план?!

46

В «Портрете» Гоголя художник приходит в отчаяние при мысли о том, что пожертвовал своим искусством ради «жизни». У Ибсена в его драме «Когда мы, мертвые, просыпаемся» тоже художник, прославившийся на весь мир, раскаивается в том, что пожертвовал жизнью – искусству. Теперь – выбирай, какого сорта раскаяние тебе более по вкусу.

47

Человек часто бывает равнодушен к своему успеху до тех пор, пока его имеет. Стоит только ему потерять свое влияние на людей, и он начинает огорчаться. И – наоборот.

48

Инсаров, в качестве человека, готовящегося к битвам, поразил воображение Елены, и она предпочла его Шубину, художнику, и Берсеневу, ученому. Женщины еще с древних времен больше любили воинствующих и военных, чем мирных и статских мужчин. Если бы Тургенев эту мысль облек в менее идеалистическую форму, вероятно, он не сделался бы идолом молодежи. Кто из нас не увлекался Еленой и ее избранником? Кто вообще не увлекался тургеневскими женщинами! А между тем, все они отдаются наиболее сильному мужчине. У «высших людей», как у зверей: самцы борются меж собою, самка следит за их борьбой и по окончании ее признает себя рабой победителя.

49

Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мирке. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т. п.

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
вещах. Уничтожать то, созидание чего стоило таких трудов! И затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир! Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой – нет никому дела.

Крылья – это мистицизм, самоугрызение же – действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палачей: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами.

50

Ницше и Достоевский являются типическими «обратными симулянтами», если так можно выразиться. Они притворялись душевно здоровыми, хотя были душевно больными. Они хорошо знали, что больны, но проявляли свою болезнь лишь в той мере, в которой чудачество сходило еще за оригинальность. С чуткостью, свойственной всем, находящимся в постоянной опасности, они никогда не переходили за известную черту. Топор гильотины общественного мнения всегда висел над ними: стоило бы только неловким движением зацепить веревку, и казнь совершилась бы сама собой. Но они умели уберечься от лишних движений.

51

Так называемые последние вопросы в такой же мере волновали человечество в самом начале сотворения мира, как и в наше время. Уже Адам и Ева хотели «знать» и, рискуя навлечь на себя гнев всемогущего Творца, сорвали плод с дерева познания добра и зла. Каин, жертва которого была неугодна Богу, поднял руку на родного брата – ему казалось, что он совершил убийство во имя справедливости для восстановления погрязших прав своих. Со времени Каина ни один человек не мог понять, отчего Творец мира благосклоннее принимает жертву его брата, чем его собственную, и в наши дни Сальери повторяет расправу Каина и отравляет своего брата и благодетеля, Моцарта: «Все говорят – нет правды на земле; но правды нет и выше: для меня так это ясно, как простая гамма». Нет ни одного человека на земле, который бы в этих простых и глубоких словах не узнал собственных мучительнейших сомнений. Отсюда вытекает трагическое творчество, – загадочным образом до сих пор почитаемое всеми высшим родом творчества. Все разгадывается и объясняется. Если сравнить наши знания с знаниями древних, мы окажемся великими мудрецами. Но к загадке о вечной справедливости мы так же мало подошли, как и первый человек, как и убийца Каин. Прогресс, цивилизация, все завоевания человеческого ума в эту область не принесли ничего нового. Как наши праотцы, так и мы с испугом и недоумением останавливаемся при виде уродства, болезни, безумия, нищеты, старости, смерти. Все, что могли сделать до сих пор мудрецы, – это обратить земные ужасы в проблему: может быть, говорят нам, все страшное есть только страшное на вид, и в конце тяжелого пути нас ждет нечто новое. Может быть! Но современный образованный человек, имеющий доступ к мудрости 40 веков исторической жизни человечества, знает об этом не больше, чем древний певец, за свой страх решавший мировые проблемы. Мы, дети угасающей цивилизации, мы, старики от рождения, в этом смысле так же молоды, как и первый человек.

52

Говорят, что нельзя обозначить границу между «я» и обществом. Наивность! Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, но и в самых многолюдных городах. Правда, они не одеваются в звериные шкуры и не имеют при себе чернокожих Пятниц, оттого-то никто их и не узнает. Но ведь Пятница и звериная шкура – последняя вещь, и не они делают человека Робинзоном. Одиночество, оставленность, бесконечное, безбрежное море, на котором десятки лет не видно было паруса, – разве мало наших современников живут в таких условиях? И разве они не Робинзоны, для которых люди обратились в далекое воспоминание, с трудом отличаемое от сновидения?

53

Быть непоправимо несчастным – постыдно. Непоправимо несчастный человек лишается покровительства земных законов. Всякая связь между ним и обществом порывается навсегда. И так как рано или поздно каждый человек осужден быть непоправимо несчастным, то, стало быть, последнее слово философии – одиночество.

54

«Лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей» – утилитаристы рассчитывали на этом золотом мосте перебраться через пропасть, отделяющую их от обетованной земли идеализма. Но пришла психология и грубо доложила: «Несчастливых людей нет, все несчастные – свиньи». Подпольный философ Достоевского, Раскольников, Гамлет и т. д. – не несчастные люди, судьбу которых можно предпочесть, а несчастные свиньи, и, главное, они сами слишком хорошо это знают... Имеющий уши, да слышит.

55

Если ты хочешь, чтобы люди позавидовали твоему горю, даже твоему позору – сделай вид, что ты им гордишься. И если только у тебя достаточно актерского искусства, будь спокоен: ты станешь героем дня. С тех пор, как стала известна притча о фарисее и мытаре, сколь многие, не умевшие исполнить своих обязанностей пред Богом, представлялись евангельскими мытарями и возбуждали к себе сочувствие, даже зависть.

56

Философы ужасно любят называть свои суждения «истинами», ибо в таком чине они становятся общеобязательными. Но каждый философ сам выдумывает свои истины. Это значит: он хочет, чтобы его ученики обманывались по выдуманному им способу, право же обманываться на свой манер он оставляет за одним собой. Почему? Почему не предоставить каждому человеку права обманываться, как ему вздумается?

57

Когда Ксантиппа облила помоями Сократа, вернувшегося с занятий философией, он, по преданию, сказал: «После бури всегда бывает дождь». Не достойнее ли истины (не мудреца, а истины) было бы сказать: «Позанявшись философией, все равно чувствуешь себя облитым помоями», и Ксантиппа дала только внешнее выражение тому, что происходило в душе Сократа. Символы не всегда бывают красивы.

58

Из записок подпольного человека: «Я читаю мало, пишу мало и, кажется, думаю мало. Нерасположенный ко мне человек увидит в этом большой недостаток, скажет, что я ленив, может быть, назовет меня Обломовым и при этом вспомнит прописную истину, что леность – мать всех пороков. Друг скажет, что это временное состояние, что я, может быть, не совсем здоров, – словом, найдет оправдывающие обстоятельства, не особенно даже подбирая их, озабоченный более желанием утешить меня, чем сказать правду. Я же сам скажу: подождем. Если к концу моей жизни выйдет, что я „сделал“ не меньше других – значит... значит, что леность может быть добродетелью».

59

Берне очень обижался, когда его враги объясняли его негодующие статьи болезнью печени и желудка. Ему казалось, что негодовать и злиться по поводу торжества зла на земле гораздо благороднее и возвышенней, чем по поводу непорядков, происходящих в собственном организме. Откинув сентиментальность: был ли он прав и точно ли это благороднее?

60

Настоящий писатель брезгует говорить понаслышке о вещах, которых он сам не видел. Ему кажется унижительным и скучным гимназическое занятие – рассказывать «своими словами» то, что он вычитал в чужих книгах. Да ему и не до того!

61

Пока между образованным человеком и народом стоит совесть в качестве единственно возможной посредницы, не может быть и речи о взаимном понимании. Совесть требует жертв и только жертв. Она говорит образованному человеку: ты счастлив, обеспечен, учен – народ беден, невежествен,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
несчастлив. Откажись от своего благополучия или заморози свою совесть
льстивыми речами. Лишь тот, кому нечем жертвовать, кто сам все потерял, –
лишь тот может подойти к народу как равный к равному.

Оттого Достоевский и Ницше не боялись говорить от своего имени и не
чувствовали себя принужденными ни вытягиваться, ни пригибаться, чтоб стать
в уровень с человеком.

62

Не знать, чего хочешь, считается одним из самых позорящих обстоятельств.
Признаться в этом – значит погубить навеки свою репутацию не только как
писателя, но и как человека. И тем не менее, «совесть» требует такого
признания. Правда, в этом случае, как почти всегда, требования совести
удовлетворяются лишь потому, что они уже не угрожают слишком серьезными
последствиями. Помимо того, что теперь мало кто боится когда-то столь
страшного суда общественного мнения (публику приучили или приручили, и она
с благоговением прислушивается к тому, что ей говорят, и никогда не
осмеливается судить), – в конце концов, в признании «я сам не знаю, чего
хочу» можно найти даже залог чего-то очень значительного. Ибо те, которые
знают, чего хотят, обыкновенно хотят пустяков и добиваются малоценных благ:
богатства, славы, в лучших случаях – прогресса или мировоззрения. Над этим
не грех и посмеяться иной раз и, пожалуй, близко то время, когда
обновившийся Гамлет не со стыдом, а с гордостью провозгласит: я сам не
знаю, чего хочу. И толпа будет ему рукоплескать: ибо героям и гордым людям
всегда рукоплещут.

63

Страх смерти объясняется исключительно чувством самосохранения. Но тогда он
должен был бы исчезать у стариков и больных, которым было бы свойственно
встречать смерть равнодушно. Между тем, ужас пред смертью свойствен всем
живым существам. Не значит ли это, что ужас имеет еще какой-нибудь смысл? И
что там, где он не может оберечь живое существо от грозящей гибели, он все
же нужен и целесообразен? И что естественнонаучная точка зрения и на этот
раз, как почти всегда, останавливается на полпути, не доведя до того конца,
к которому она обещала привести человеческий ум?

64

Моральное негодование есть лишь более утонченная форма древней мести.
Когда-то гнев разговаривал кинжалами, теперь достаточно слов. И счастлив
тот, кто хочет и любит казнить своего обидчика, для кого отмщенная обида
перестает быть обидой. Оттого мораль, пришедшая на смену кровавой расправе,
еще не скоро потеряет свою привлекательность. Но ведь есть обиды, и
глубокие, незабываемые обиды, наносимые не людьми, а «законами природы».
Как с ними справиться? Тут ни кинжал, ни негодующее слово ничего не
поделают. И для того, кто столкнулся с законами природы, мораль временно
или навсегда уходит на второй план.

65

Фатализм пугает людей – особенно в той своей форме, которая считает
возможным ко всему, что происходит, происходило и будет происходить,
говорить: да будет так. Как оправдывать действительность, когда в ней
столько ужасов? Но *amor fati* [24] не обозначает вечного мира с
действительностью. Это только перемирие на более или менее продолжительный
срок. Нужно время, чтоб изучить силы и намерения противника: под личиной
дружбы старая вражда продолжает жить, и готовится страшная месть.

66

В «последних вопросах бытия» мы нисколько не ближе к истине, чем самые
отдаленные предки наши. Это всем известно и, тем не менее, многие
продолжают размышлять о бесконечности, не имея никаких надежд на
возможность добиться сколько-нибудь удовлетворительных результатов.
Очевидно, результат в том смысле, в каком это слово обыкновенно понимается,
совсем и не нужен. Мы, в конце концов, доверяемся инстинкту даже в области
философии, где, по общему убеждению, царит разум с его пытливыми «почему»...
«Почему» умеет посмеяться над всевозможными «потому». Инстинкт же никогда
не смеется: он просто игнорирует «почему» и ведет человека по самым трудным

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
и непроходимым путям к целям, которые наш божественный разум наверняка признал бы нелепыми, если бы умел заблаговременно предугадать их. Но он плохой отгадчик, так что, когда мы приходим к неожиданной для него цели, ему ничего другого не остается, как признать совершившийся факт. И даже оправдать, возвеличить его. А потому – «действительность разумна» – и не только тогда, когда философу платят жалование, – как говорят социалисты о всех философах и некоторые философы, в том числе и наш Вл. Соловьев, о Гегеле, – но даже и тогда, когда его лишают содержания. Даже более: в последнем случае, именно в последнем случае, – вопреки социалистам и Вл. Соловьеву, – действительность становится особенно разумной, философ гонимый, замученный, голодный, холодный, не получающий никакого жалованья, всегда почти бывает крайним фаталистом – хотя это, разумеется, несколько ему не мешает бранить существующие порядки. Последовательность, как известно, обязательна только для учеников: их ведь достоинство в том, чтоб логически развить идею учителя. Учителя же сами выдумывают идеи и всегда вправе одну идею заменить другой. Верховная власть, издающая закон, сама же и отменяет его; обязанность же подчиненных органов состоит в точном, последовательном и строгом истолковании и исполнении предписаний высшей воли.

67

фарисей в евангельской притче исполнил все, что от него требовала религия, – он соблюдал посты, отдавал десятину и т. д. Вправе ли был он радоваться своему благочестию и презирать преступного мытаря? Все думают, что вправе, и фарисей так думал. Суд Христа был для него величайшей неожиданностью. У него совесть была чиста, он не пред другими притворялся святым, он верил сам в свою святость. И вдруг он оказывается виноватым, и как виноватым. Но если совесть совестливого человека не помогает нам отличить добро от зла, то, как уберечься от преступления? И что значит кантовский нравственный закон, который утешал его так же, как и звездное небо? Кант прожил свою жизнь в глубоком душевном мире и встретил смерть спокойно, в сознании, что он ни пред кем ни в чем не виноват. Но если бы вновь пришел Христос, Он, может быть, осудил его за его праведность. Ибо фарисей, повторяю, был праведным – если только чистота намерений, соединенная с готовностью честно исполнить все, что считаешь долгом, есть праведность.

68

Мы глумимся и смеемся над человеком не потому, что он смешон, а потому, что нам нужно развлечься, посмеяться. Так же негодуем мы не потому, что тот или иной поступок возмутителен, а потому, что нам нужно дать исход накопившемуся чувству. Из этого, конечно, менее всего следует, что мы должны быть всегда ровными и спокойными. Горе тому, кто вздумал бы на земле осуществлять идеал справедливости...

69

Мы думаем особенно напряженно в трудные минуты жизни, – пишем же лишь тогда, когда нам больше нечего делать.

Так что писатель только в том случае может сообщить что-либо интересное или значительное, когда он воспроизводит прошлое. Когда нам нужно думать, нам, к сожалению, не до писания. Оттого-то все книги, в конце концов, являются только слабым откликом пережитого.

70

У Чехова есть рассказ «Беда», который очень хорошо иллюстрирует, как трудно человеку освоиться с новой истиной, если она грозит прочности его положения. Купец Авдеев не верит, что он виноват, что он попал под суд, что его судят, что его даже осудили за беспорядки в общественном банке. Он все думает, что настоящее решение еще впереди... В мире ученых происходит нечто подобное. Они до того привыкли считать себя невинными и правыми, что решительно ни на одну минуту не допускают мысли, что попадут под суд, и когда до них доходят грозные голоса, призывающие к ответственности, они только недоверчиво пожимают плечами. «Все это пройдет», – думают они. Ну а когда, наконец, они убедятся, что беда действительно их постигла, они, верно, подобно Авдееву, станут оправдываться тем, что они и читать-то по писанному толком не умеют. А сейчас считаются почтенными, умными, опытными и всезнающими людьми.

71

Если к Достоевскому пришел человек и сказал о себе, что он безнадежно несчастен, великий художник людского горя, вероятно, в глубине души хохотал бы над ним и его наивностью. Разве можно сознаваться людям в таких вещах? Разве можно так жаловаться и ждать все-таки утешения от ближних?

Безнадежность – торжественнейший и величайший момент в нашей жизни. До сих пор нам помогали – теперь мы предоставлены только себе. До сих пор мы имели дело с людьми и человеческими законами – теперь с вечностью и отсутствием всяких законов. Как можно не знать этого!

72

Белинский в своем знаменитом письме, между прочим, обвиняет Гоголя, что он в «Переписке с друзьями» поддался влиянию страха смерти, чертей и ада. Я нахожу это обвинение совершенно правильным: Гоголь точно боялся и смерти, и черта, и ада. Вопрос только, можно ли всего этого не бояться и служит ли в этом случае безбоязненность доказательством высокой степени развития человеческой души? Шопенгауэр утверждал, что смерть всегда была вдохновительницей философии. Все лучшие поэтические создания, вся дивная мифология древних и новых народов имели своим источником боязнь смерти. Только современная наука запрещает людям бояться и требует от них спокойного отношения к смерти. Отсюда берет свое начало утилитаризм и позитивная философия. Если хочешь избавиться от того и другой, нужно вновь разрешить человеку думать о смерти и не стыдиться своего страха пред адом и чертями. Может быть, еще имеет некоторый смысл скрывать такого рода страх: в уменье скрыть свое волнение в минуту великой опасности есть большая красота.

Но притупить человеческую чуткость и держать его разум в границах постигаемого, как принято ныне выражаться, – такая задача может вдохновить только ограниченное существо. К счастью, у человечества нет средств, чтоб произвести над собой столь чудовищную кастрацию. Преследуемый Эрос, правда, прятался от глаз врагов, но никогда не отрекался от себя, и даже самые строгие средневековые монахи не умели совсем вырвать из своей груди сердца. Так и со стремлением к бесконечному: наука преследует его и каждый раз налагает на него свое veto. Но даже труженики лаборатории рано или поздно приходят в себя и с такой же жадной рвутся за пределы положительного знания, с какой монахи рвались за стены монастырей.

73

Если судьба – есть, говорят, такой закон – казнит преступников, то она имеет свой суд и для любителей добра. Первые она давит, вторых – оплевывает. Первые кончают мучительными пытками, вторые – позором.

74

Философия всегда любила занимать служебное положение. В Средние века она была *ancilla teologi*?, в наше время – она прислужница наук. А называет себя – наукой наук.

75

Я не знаю, что скорей заставит человека идти вперед без оглядки – сознание, что за спиной осталась голова Медузы с страшными змеями и опасность обратиться в камень, или уверенность, что за ним та прочность и неизменность, которая обеспечивается законом причинности и современной наукой. Судя по тому, что теперь происходит, судя по тому, до какой степени напряженности дошла в наше время человеческая мысль, нужно полагать, что голова Медузы не так страшна, как закон причинности. Чтобы убежать от последнего – человек готов на все: кажется, он даже охотней примет безумие – не поэтическое безумие, которое кончается пылкими речами, а настоящее, за которое сажает в желтый дом, – чем вернется на лоно закономерного познания действительности.

76

«Испытывать чувство радости или печали, торжества или отчаяния, скуки или

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
веселья и т. п., не имея к тому достаточных оснований, есть верный признак душевной болезни». Так говорится в учебниках психиатрии... Одна из современных истин, доживающая свои последние дни.

77

Немецкий биограф гр. Толстого высказывает сожаление по поводу вечных недоразумений и ссор, происходивших между Тургеневым и Толстым. Ему вспоминаются отношения Шиллера и Гете, и он думает, что русская литература много бы выиграла, если бы два замечательных русских писателя были более миролюбивы, находились в постоянных дружеских сношениях меж собой и оставили в нападении потомству том-другой переписки на разного рода философские и литературные темы. Может быть, это было бы очень хорошо, – но я решительно отказываюсь представить себе Толстого и Тургенева, долгое время ведущих миролюбивую переписку, особенно на возвышенные темы. Каждое почти суждение Тургенева приводило или могло привести Толстого в бешенство. Любопытный факт: Достоевский так же, как и Толстой, не любил Тургенева и написал на него очень злую и обидную, хотя мало похожую карикатуру, скорей даже не карикатуру, а пасквиль. По-видимому, Достоевский так же, как и Толстой, более всего ненавидел в своем знаменитом собрате «европейца». Правда, он в этом в значительной степени ошибался, несмотря на всю свою проницательность психолога. Но с Достоевского уже было достаточно того, что Тургенев рядился в европейское платье и старался быть похожим на западного человека. Сам Достоевский делал обратное: он всячески стремился выкорчевать из своей души все корни европеизма, хотя, к слову сказать, это ему не вполне удавалось, так как он не совсем ясно давал себе отчет, в чем сила Европы и чем опасно ее влияние. Но все-таки покойный Михайловский недаром его назвал кладоискателем. Ведь, действительно, Достоевский во вторую половину своей литературной деятельности уже не искал так называемых реальных благ жизни. В нем проснулся русский, стихийный человек с его жадной чудесного. Сравнительно с тем, что было ему нужно, – все дары европейской цивилизации казались плоскими, жалкими, ничтожными. Многолетний опыт наших культурных соседей говорил ему, что чуда никогда не было и, по-видимому, не будет, – но все его еще не прирученное цивилизацией существо рвалось к великому, могучему, неизведанному. И удовлетворенный с виду прогрессист, «постепеновец» Тургенев вызывал в нем чувства злобы и ненависти. Толстой как-то сказал о Тургеневе: «Я ненавижу его демократические ляжки». Достоевский мог бы повторить эти слова... Подите, в угоду немецкому критику, примирите русских писателей и заставьте их благочестиво беседовать на возвышенные темы! Достоевский ведь был на волосок от ссоры и с Толстым, с которым он незадолго до своей смерти начал полемизировать по поводу «Анны Карениной». Даже Толстой показался ему слишком сговорчивым и уступчивым...

78

Тем, что для нас важно и нужно, чем мы дорожим и что действительно любим, мы редко хвастаем. И наоборот, мы охотно выставляем напоказ то, чего мы совсем не ценим – ибо не знаем, какое другое употребление из него можно сделать. Продажную любовницу возят в театр и сажают на виду у всех, с любимой женщиной предпочитают оставаться дома или уходить в не слишком людные места. То же и с нашими «добродетелями». Каждый раз, когда мы замечаем в себе какое-нибудь свойство, нам совсем ненужное, мы пробуем, не пригодится ли оно людям и торопимся его выставить напоказ. Если оно встретит одобрение – мы рады: хоть какой-нибудь прок вышел. Актеру, писателю, оратору часто до смерти противны кривлянья, без которых невозможен успех у публики, – но свою способность кривляться он считает за талант, за Божий дар и лучше согласится умереть, чем лишиться ее. И вообще «талант» считается даром Божиим только потому, что он всегда на виду, что так или иначе полезен обществу. Все наши суждения насквозь пропитаны утилитаризмом, и если бы попытаться их очистить от этого элемента, – что осталось бы от современного «мировоззрения»? Вот почему юные и неискушенные мыслители обыкновенно веруют в *harmonia pr?stabilita*, [25] даже если они ничего о Лейбнице и не слыхали. Они убеждают себя, что нет противоречия между идеальными стремлениями и эгоистическими, что, например, жажда славы и жажда полезной деятельности – это только разные слова для одной и той же вещи. Такая «предпосылка» часто очень живуча и сохраняется долго даже у людей с сильным и смелым умом. Мне кажется, что Пушкин, если бы он даже дожил до глубокой старости, не расстался бы с нею. Тургенев в нее верил – насколько вообще может верить человек его душевного склада. Толстой же периодически то верил, то не верил в нее, смотря по тому, что ему

приходилось делать: когда нужно было разрушать чужие идеи, он сомневался, когда он защищал свои, – верил. Пример, заслуживающий серьезного внимания и, прежде всего, подражания; человеческие истины только и годны, что для служебных целей.

79

Человек настолько консервативное существо, что всякая перемена, даже перемена к лучшему, пугает его, и он обыкновенно предпочитает привычное, хотя бы дурное, старое – новому, даже хорошему. Человек, много лет подряд бывший убежденным материалистом, ни за что не согласится признать душу бессмертной, если бы ему даже это доказали *more geometrico* [26] и если бы даже он был трусливейшим существом и боялся смерти, как шекспировский Фальстаф. Ко всему тому еще самолюбие! Люди не любят признаваться в своих заблуждениях. Это смешно, но это – так. Люди, ничтожные, жалкие существа, на каждом шагу, как это Доказывает история и обыкновенная житейская практика, заблуждающиеся, хотят считать себя непогрешимыми и всезнающими. И зачем? Отчего не признаться прямо и открыто в своем незнании? Правда, это не так легко достижимо. Подлый разум, вопреки нашему желанию, подсовывает нам мнимые истины, от которых мы не умеем отделаться даже тогда, когда замечаем их призрачность. Сократ хотел думать, что ничего не знает – и не мог: он глубоко верил в свое знание, он думал, что ничего, кроме того, чему он учит, не может быть «истиной», он принял изречение оракула и искренне считал себя мудрейшим из людей. И мы все соблазнились его мудростью, которая до сих пор держит нас в плену. Декарт понимал, что нужно во всем усомниться, но не знал, с чего начинать. И так будет до тех пор, пока философы будут считать своей обязанностью учить и спасать ближних. Кто хочет помочь людям – тот не может не лгать. Нужно усомниться не затем, чтобы потом снова вернуться к твердым убеждениям: это было бы бесцельно; опыт показал, что такой процесс приводит только от одного заблуждения к другому – в области последних вопросов, разумеется. Нужно, чтобы сомнение стало постоянной творческой силой, пропитало бы собой самое существо нашей жизни. Ибо твердое знание есть условие несовершенного восприятия. Слабый, неокрепший дух не способен к слишком быстрым, непрерывным переменам; ему всегда нужно осматриваться, приходиться в себя – и для этого подольше испытывать одно и то же. Ему нужны даваемые привычкой прочность и устои. Но созревший дух презирает эти костыли. Ему надоело пресмыкаться на земле, он отрывается от «родной» почвы и уходит ввысь, вдаль, в бесконечное пространство. И ведь всякий знает, что не навсегда же мы осуждены жить в этом мире. Но страх мешает нам прямо сказать это себе, и до поры до времени мы молчим. Но приходят несчастья, болезни, старость – и страх, который мы хотели отогнать от себя, делается постоянным спутником нашей жизни. Мы уже не можем от него отделаться и поневоле с любопытством начинаем присматриваться к ненавистному спутнику. И тогда мы замечаем, что он не только пытается нас, но вместе с нами и за нас делает странное и непривычное дело: перегрызает все нити, которыми мы были привязаны к прежнему существованию. Нам кажется иногда, что еще несколько мгновений, и нас ничто не в силах будет больше удержать, что осуществится вечная мечта пресмыкающегося человека: он освободится от тяжести и уйдет далеко от проклятой земной юдоли... Предчувствие ли это или галлюцинации измученной души?..

80

На моралистов нападают за то, что они рекомендуют людям «нравственное утешение». Но, собственно говоря, эти обвинения не совсем справедливы. Моралисты, вероятно, с большей радостью заменили бы свои отвлеченные дары более реальными, если бы только могли. Толстой в молодости хотел осчастливить человеческий род и только под старость, убедившись, что осчастливить не в его силах, стал проповедовать отречение, резиньяцию и т. п. И как он сердится, когда люди не соглашаются принять его учение! А ведь может быть, что, если бы Толстой вместо того, чтобы выдавать свое учение за решение последних вопросов и за оптимизм, говорил бы о невозможности удовлетворительных ответов и выступал пессимистом, его бы охотнее слушали и меньше возражали. Теперь он раздражает преимущественно тем, что, не умея облегчить ближних, он требует, чтобы ближние считали себя или по крайней мере притворялись получившими облегчение, даже осчастливленными им. На это мало кто соглашается: с какой стати добровольно отказываться от своих прав? Ведь право браниться и проклинать судьбу – хоть и не Бог знает какое большое, но все-таки право...

81

Иванов – в драме А. Чехова того же названия – сравнивает себя с надорвавшимся рабочим: рабочий умер, и Иванову остается только умереть. Но логика, как известно, рекомендует с большой осторожностью относиться к умозаключениям по аналогии. Ведь вот же сам Чехов, вынесший, по всем видимостям, в своей душе такую же драму, как Иванов, не умер и даже не оказался лишним человеком! Он что-то делает, он борется, ищет, и его дело кажется нам таким же важным и значительным, как и другие важные человеческие дела. Иванов застрелился, потому что Чехов не кончил еще своей борьбы, а драму нужно было кончать – того требует современная эстетика, которая от аристотелевских единств отказалась, но не допускает и мысли о возможности пьесы без развязки. Еще немного времени – и драматические писатели избавятся от этого стеснения: им разрешат открыто признаться, что они не знают, как и чем кончать. В повестях уже и теперь обходятся без конца.

82

Еще о том же. Иванов говорит: «Ну, где же мое спасение? В чем? Если неглупый, образованный человек без всякой видимой причины стал петь Лазаря и покатился по наклонной плоскости, то он катит уже без удержу и нет ему спасения». Один выход: признать наклонную плоскость и движение без удержу нормальным явлением. И даже более: искать в этом доказательство своих духовных преимуществ перед другими людьми. Разумеется, при этом нужно отойти в сторону, не свататься к молодым девушкам, не брататься с теми, которые еще живут, как все, а быть одному. «Любовь – вздор, ласки – приторны, в труде нет смысла, песня и горячие речи – пошлы и стары», – продолжает Иванов. Для молодой Саши эти слова страшны, но Иванов с ними справится, справился. Это ничего, что он шатается: стреляться ему еще рано. Он будет жить, пока живет его творец, Чехов. А мы прислушаемся к шатающемуся, колеблющемуся мировоззрению. Нам стройность и законченность так же надоели, как и буржуазное самодовольство.

83

Из сказанного видно, что уже в «Иванове», одном из своих ранних произведений, Чехов выступает в роли *advocatus diaboli*. [27] куда Иванов ни является, он вносит гибель и разрушение. Чехов, правда, не решается явно брать его сторону и не знает, по-видимому, что делать со своим героем, а потому отделяется от него, развязывает, так сказать, себе руки умышленно шаблонным способом: Иванов на виду у всех стреляется, – ему даже некогда было отойти в сторону и покончить с собой так, чтоб никто не видел. Единственным оправданием Иванова является карикатура на честность – доктор Львов. Львов не живая фигура – это всякому ясно. Но этим он и замечателен. Замечательно, что Чехову понадобилось воскресить забытого Стародума фонвизинской комедии – но уже не затем, чтоб принудить людей поклониться воплощению добродетели, как делали прежние драматурги, а наоборот, затем, чтобы дать возможность надругаться над ним. Посмотрите только на эту честность – Львова. По старой привычке она еще выпячивает грудь, говорит громким голосом и властным тоном, но все прежние ее верноподанные не ставят ее ни в грош. Даже не удостаивают ее насмешки, а оплевывают и нетерпеливо выталкивают за дверь, как опостылевшую и наглую приживалку. Бедная честность! До чего она дожила! Видно и добродетелям не следует слишком долго заживаться на земле.

Дядя Ваня у Чехова готов броситься на шею своему другу и сопернику, доктору, – броситься на шею и разрыдаться, как плачут маленькие дети. Но он чувствует, что и сам доктор испытывает такую же неутолимую жажду утешения и ободрения. И бедная Соня уже не имеет сил одинаково выносить свое девичье горе. Все они блуждающими, потерянными, испуганными глазами ищут человека, который мог бы снять с них часть их невыносимых страданий – но везде находят то же, что у себя. Все чрезмерно обременены, ни у кого нет сил вынести собственные ужасы, не то, что облегчить другого. И последнее утешение отнимается у бедных людей: нельзя жаловаться, нет сочувственного взгляда. На всех лицах одно выражение – безнадежности и отчаяния. Каждому приходится нести свой крест – и молчать. Никто не плачет, не говорит жалких слов – это было бы неуместно и неприлично. Когда сам дядя Ваня, не сразу давший себе отчет о безысходности своего положения, начинает кричать: пропала жизнь! – никто не хочет прислушиваться к его крику. «Пропала, пропала, – все знают, что пропала. Молчи, вопли не помогут. И выстрелы не

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
разрешат ничего». Здесь все могли бы повторить то, что говоришь ты, – но не повторяют и не плачут:

Вы думаете, плакать стану я?

Мне есть о чем рыдать, но прежде сердце

В груди моей на тысячи кусков порвется...

Шут мой, – я с ума сойду!

Постепенно водворяется грозное, вечное молчание кладбища. Все безмолвно сходят с ума, понимают, что с ними происходит, и решаются на последнее средство: навсегда затаить от людей свое горе и говорить обыденные, незначашие слова, которые принято считать разумными, значительными, светлыми даже. И уже никто больше не станет кричать «пропала жизнь» и соваться со своими переживаниями к ближним. Каждый знает, что позорно «проворонить жизнь» и что свой позор нужно навсегда скрыть от чужих глаз. Последний закон на земле – одиночество... *Resigne toi, mon couer, dors ton sommeil de brute!*[28]

85

Ни на чем не основанные соображения. «Ни на чем не основанные», ибо, кажется, они вызваны общим предположением об осмысленности человеческого существования, а ведь оно дитя наших желаний и дитя, вероятно, незаконное... Пушкин опозитизировал в «Скупом рыцаре» скрягу, Гоголь в Плюшкине, наоборот, создал для скупости страшный образ. По-видимому, к действительности был ближе Гоголь. Скупой безобразен, как его ни рассматривай – снаружи или изнутри. И все-таки не следовало бы Гоголю учить людей сохранять в старости идеалы юности. Коли есть старость – нечего ее исправлять и еще меньше извиняться за нее. Нужно принять ее и стараться подсмотреть, в чем ее сущность. Плюшкин, грязный и грубый маньяк, нам противен, но, кто знает, может быть, он делает свое, возложенное на него природой серьезное и важное дело. Он весь проникнут одним стремлением – и ко всему, что происходит в мире, равнодушен. Ему все равно, что о нем скажут люди. Ему все равно, сыт ли он, или голоден, согрет или холоден, умыт или грязен. Вообще ни одно внешнее событие не может отвлечь его внимания от невидимой нам внутренней работы. Он бескорыстно скуп, если можно так выразиться. И богатство его ему вовсе не нужно. Он гноит его в отвратительной куче и даже не мечтает, как пушкинский рыцарь, о могуществе, чертогах, которые он мог бы воздвигнуть, о резвых нимфах. К чему направлены его силы? Об этом никому нет времени подумать. Все при виде Плюшкина вспоминают только о приносимом им вреде. Люди, конечно, правы: Плюшкины, гноящие богатства, очень вредны. И общественная точка зрения почти всегда уместна. Но только – почти. Иногда не мешаает морали и общественным соображениям умолкнуть – авось удастся разгадать загадку скупости, безобразия, старости...

86

Есть достаточно оснований к тому, чтобы недоверчиво относиться к жизни. Она столько раз обманывала нас в самых заветных ожиданиях наших. Но еще больше оснований есть не доверять разуму: ведь если жизнь могла обмануть нас, то только потому, что бессильный разум дался в обман. Может быть, он сам себе этот обман и выдумал и только из самолюбия валит с больной головы на здоровую. Так что, в конце концов, выбирая между жизнью и разумом, отдаешь предпочтение первой. Уже не стараешься предвидеть и объяснять, а ждешь, принимая все непоправимое за должное. Поэтому, вероятно, Ницше, видя, как постепенно разрушаются его надежды, и поняв, что прошлых сил уже не вернуть, что с каждым днем ему будет все хуже и хуже, писал (частное письмо от 28 мая 1883 г.): «*Ich will es so schwer haben, wie nur irgend ein Mensch es hat; erst unter diesem Drucke gewinne ich das gute Gewissen dafur, etwas zu besitzen, das wenige Menschen haben und gehabt haben: Flugel, um im Gleichnisse zu reden*». [29] В этих простых и немногих словах ключ к философии Ницше.

87

«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон – из детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Расскажите обыкновенным языком мысль Пушкина, и получится страничка из невропатологии: все неврастеники обыкновенно переходят от состояния крайней возбужденности – к совершенной прострации. Поэты – тоже: и гордятся этим.

88

Застенчивые люди обыкновенно воспринимают впечатления задним числом. В ту минуту, когда на их глазах что-либо происходит, они ничего не замечают и только впоследствии, воспроизведши в памяти отрывок из прошлого, они дают себе отчет в том, что видели. И тогда ретроспективно в их душе возникают чувства обиды, жалости, удивления с такой живостью, как будто бы дело шло не о прошлом, а о настоящем. Поэтому застенчивые люди всегда опаздывают с делом и всегда много думают: думать никогда не поздно. Робкие при других, они доходят до большой смелости, когда остаются наедине с собой. Они плохие ораторы, но часто замечательные писатели. Их жизнь бедна и скучна, их не замечают, пока они не прославятся. Когда же приходит слава – общее внимание уже не нужно.

89

Если бы Лаевский (в «Дуэли» Чехова) был писателем и имел литературное дарование, все бы говорили, что он оригинален и занимается исследованием «мистики пола», как Габриэле д'Аннунцио, например. А теперь он – пошляк. И его праздность ставят ему в упрек: хотят, чтоб он, по крайней мере, бумаги переписывал.

90

Из наблюдений над детьми. Эгоизм в человеке нас поражает неприятно главным образом ввиду того, что он свидетельствует о нашей бедности. «Я не могу отдать ближнему от своего избытка, мне самому мало останется». Нам хотелось бы, чтобы мы могли царственно щедрой рукой разбрасывать богатства, и когда мы видим, что кто-либо прикрывает свои лохмотья фразой «собственность священна», нам обидно. Священное – от богов, а у богов всего вдоволь, и они не считают, как смертные.

91

Мы видим, что человек раскаивается в своем поступке и делаем отсюда заключение: таких поступков нужно избегать. Пример ложного, но безукоризненного на вид заключения. Проходит некоторое время, и мы видим того же человека, вновь раскаивающегося по поводу второго такого же поступка. Если мы дорожим логикой, то это утвердит нас в нашем первом выводе. Если же мы не дорожим логикой, мы скажем: человеку одинаково нужно и совершать «поступки», и каяться. Иногда, впрочем, ошибка первого заключения исправляется иначе. Сделав вывод, что раскаяние говорит за необходимость избегать известных дел, человек всю жизнь их избегает и вдруг с необыкновенной ясностью начинает испытывать раскаяние по поводу того, что он «не делал». Но тогда уже заключение практически бесполезно: жизнь окончена, и просветлевший ум не знает, как отделаться от ненужного света.

92

Версия одной из сцен «Власти тьмы» совсем напоминает одноактные метерлинковские пьесы. О заимствовании тут, конечно, не может быть и речи: в то время, когда была написана «Власть тьмы», никто еще не слышал о Метерлинке. Толстой, очевидно, хотел попытаться творить в новом роде и освободиться от собственной, выработанной десятками лет упорного труда манеры. Но риск был слишком велик. Он предпочел лечиться от сомнений обыкновенным способом – работой, гигиенической жизнью и взялся за плуг.

93

Всяк кулик свое болото хвалит: Лермонтов видел признак духовного аристократизма в ослепительной белизне белья и всегда заставлял одеваться своих любимых героев со вкусом. Достоевский, наоборот, презирал «внешность»; на Дмитрие Карамазове грязное белье, и это ставится ему в заслугу или почти в заслугу.

94

Тургенев еще в молодые годы, в ту пору, когда писал свой рассказ «Довольно», видел, что ему предстоит в жизни нечто ужасное. Видел, но не испугался, хотя понимал, что ему следует испугаться заблаговременно, что жизнь без постоянной внутренней тревоги для него уже не имеет смысла.

Наполеон слыл знатоком человеческой души, Шекспир тоже. И их знания не имеют меж собой ничего общего.

То, что мы называем фантазией и что мы так ценим в великих поэтах – есть, в сущности, разнузданное, распущенное, если даже хотите, развращенное воображение. В обыкновенных смертных мы считаем это пороком, но поэтам мы все прощаем за пользу или удовольствие, которые они нам доставляют своими произведениями. Несмотря на наши возвышенные теории, мы всегда были в своих суждениях большими практиками, утилитаристами. Только один Платон решился изгнать поэта из своего государства. Затем прошло две с половиной тысячи лет, прежде чем Толстой, в свою очередь, позволил себе предложить на выбор поэтам: либо будьте добродетельны, либо перестаньте творить и откажитесь от учительской славы. Как известно, если Толстого не подняли на смех, то единственно из уважения к его прошлому и сединам – во всяком случае, никто не принял его слова серьезно. Наоборот, никогда еще поэты не чувствовали себя столь свободными от стеснений морали, как в наше время. Если бы Шиллер стал писать теперь свои драмы и философские статьи, их бы никто, вероятно, не захотел читать. В самом Толстом нас интересуют не столько его добродетели, сколько его пороки. Все его творчество мы начинаем объяснять не столько его стремлением к идеалам, сколько несоответствием между извне навязанными ему идеями и рвавшимися на простор запросами его недобродетельной души... Николенька Иртеньев по целым часам просиживал на площадке, подсматривая, как его старший брат Володя ловеласничает с горничными девушками, но никогда не мог принудить себя подражать Володе, хотя ему этого хотелось «больше всего на свете». Горничная говорила Володе: «Отчего Николай Петрович никогда не приходит сюда и не дурачится?» «Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтоб быть на месте шалуна Володи». «Все на свете» – повторено два раза. Толстой приводит и психологическое объяснение поведения своего маленького героя: «Я был, – рассказывает Николенька, – стыдлив от природы, но моя стыдливость еще увеличивалась убеждением в моей уродливости!» Уродство, сознание своего уродства ведет к стыдливости – что может быть хорошего в добродетели, имеющей такое подозрительное происхождение! И как можно доверять нравственности толстовских героев! Сознание уродства своего порождает стыдливость, стыдливость загоняет страсти вовнутрь и не дает им естественно проявляться. Понемногу развивается чудовищная противоположность между фантазией и ее запросами и способностью осуществлять их. Вечный голод и суженный, не проводящий пищи пищевод. Отсюда и ненависть к фантазии с ее несбытающимися и несбыточными надеждами... В наши дни никто не бичевал так любовь, как Толстой во «Власти тьмы». А между тем, подвиги деревенского Дон-Жуана вовсе не так уж обязательно должны разрешиться трагедией. Но Толстой ненавидит «больше всего на свете» Дон-Жуанов, красивых, смелых, удачливых, доверяющих себе, переводящих мысль в дело, побеждающих женщин и осмеливающихся подавать руку живым каменным статуям – и мстит им по мере сил в своих произведениях...

В драме будущего обстановка будет совсем иная, чем в современной драме. Прежде всего будет устранена вся сложность перипетии. У героя есть прошлое – воспоминания, но нет настоящего: ни жены, ни невесты, ни друзей, ни дела. Он один и разговаривает только с самим собой или с воображаемыми слушателями. Живет вдали от людей. Так что сцена будет изображать либо необитаемый остров, либо комнату в большом многолюдном городе, где среди миллионов обывателей можно жить так же, как на необитаемом острове. Отступить назад к людям и общественным идеалам герою нельзя. Значит, нужно идти вперед к одиночеству, абсолютному одиночеству. Даже теперь уже никто, глядя на Плюшкина, не станет, подобно Гоголю, патетически призывать людей беречь до самой старости свои юношеские идеалы. Теперь юноши пойдут к Плюшкину, но не за тем, чтоб посмеяться над ним или в его страшном образе найти для себя предостережение – а за тем, чтобы посмотреть, нет ли как раз у него, в его грязной куче, там, где менее всего ожидали, жемчужин... Ликургу удалось заморозить спартанцев на несколько столетий – но и для них наступила оттепель, с которой исчезла вся их твердость. Последние остатки дорического, окаменелого искусства поступают в музей... Что-то будет?..

Довлеет дневи злоба его. Если я весной не посею, у меня не будет осенью хлеба. Каждый день несет с собой достаточно забот и хлопот для бедного, слабого человека. Стоит ему на минуту забыть о делах, и он погибнет: умрет от голода или холода. Только для того, чтоб сохранить себя, нам необходимо напрягать все свои умственные и физические силы; более – мы принуждены весь окружающий нас мир представлять себе в таком виде, который бы наиболее соответствовал возможности добыть нужные для существования средства. Об истине некогда думать – да и при чем тут истина! Оттого-то явился на свет позитивизм с теорией естественного развития. На самом деле все, что мы видим, загадочно и таинственно. Мелкая мошка и огромный слон, ласковый ветерок и снежный ураган, молодое деревцо и исполинская гора – откуда все это? Почему, отчего непрерывно напрашиваются, но не произносятся: ради нужды дня философия всегда отодвигается на задний план. Думают только те, кто не умеет, не может или, по беспечности, не хочет заботиться о самосохранении, т. е. больные, ленивые или отчаянные люди. Они вновь возвращаются к загадке, которую люди дела, в глубокой уверенности в правоте своей, обратили в «естественность».

99

Кант, а за ним Шопенгауэр особенно любили эпитет «бескорыстный» и употребляли его в тех случаях, когда уже предварительно истощили весь запас имевшихся в их распоряжении хвalebных слов. «Бескорыстное размышление» – не преследующее никакой практической цели – высший идеал, который, по Шопенгауэру, может поставить себе человек: эту истину он считал общеобязательной, априорной. Но если бы случай завел его в круг русских мужиков – ему бы пришлось изменить свое мнение. Там размышления о судьбах и смысле мира, о бесконечности и т. п. никоим образом не считались бы бескорыстными – особенно, если бы человек, им отдающийся, одновременно предьявлял – как и полагается философу – притязания на полную свободу от физического труда. Там бы философа, будь он хоть Платоном, заклеили бы позорнейшим прозвищем лентяя. Там высшею деятельностью считается корыстная, направленная к строго определенной практической цели; и если бы мужики умели учено говорить, они бы, наверное, назвали лежащий в основании их суждения принцип априорным. Толстой, черпающий свою мораль из народных источников, тоже нападает на ученых именно ввиду того, что они не хотят работать, а бескорыстно занимаются отысканием истины.

100

Что человек – почти каждый – десять раз на день меняет свои убеждения, это ясно для всякого беспристрастного наблюдателя. Об этом много раз говорилось, это служило предметом сатирических и юмористических изображений для многих писателей. И в том, что быть неустойчивым в своих суждениях – это порок, никто не сомневался. Наше воспитание на три четверти сводится к тому, чтобы приучить нас самым тщательным образом скрывать в себе перемену в суждениях и настроениях. Человек, не умеющий сдерживать свое слово, – последний человек: на него ни в чем нельзя положиться. Тоже и человек, не имеющий прочных убеждений: совместная деятельность с ним невозможна. Мораль, здесь, как и всегда, исходящая из утилитарных соображений, выдвигает «вечный» принцип: ты должен всегда оставаться верным своим убеждениям. В культурных кругах эта заповедь считается до того незыблемой, что люди даже пред собою боятся оказаться непостоянными. Они окаменевают в своих верованиях, и для них нет большего стыда, чем признаться, что они переменили свои мнения. И когда прямые люди, как Монтень, открыто рассказывают о непостоянстве своих взглядов и настроений, – это многим даже кажется неправдой, клеветой на самого себя. Не нужно ни видеть, ни слышать, ни понимать, что вокруг тебя происходит: раз ты сформировался, ты потерял право расти, ты должен оставаться статуей, о которой все знают, в чем ее качества и в чем недостатки.

101

Всякое философское «мировоззрение» стремится, исходя из того или иного разрешения общей проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы, и, следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее (т. е., говоря честно, только более) произвольны и свидетельствовать только о наших предрассудках, если мы боязливы по природе, или о наших склонностях и вкусах, если мы привыкли доверять себе. Но поддерживать предрассудки –

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
жалкое и недостойное человека дело: кажется, никто не станет этого оспаривать. А потому перестанем огорчаться разногласиями наших суждений и пожелаем, чтоб в будущем их было как можно больше. Истины нет – остается предположить, что истина в переменчивых человеческих вкусах. Поскольку того требуют условия совместного существования (общественные), – постараемся сговориться: но ни на йоту больше. Каждое соглашение, не вызываемое необходимостью, будет преступлением против Духа Святого.

102

А. П. Чехов умеет очень хорошо изложить систему, даже несколько систем мировоззрения и не раз это делает в своих рассказах (напр., «Дуэль», где фон Корен говорит точно с кафедры), но он не знает, для какой надобности, кроме чисто литературных, могут пригодиться системы. Когда пишешь рассказ и нужно заставить героя хорошо и последовательно поговорить, система годится. Но когда останешься наедине с собой – неужели можно вспомнить серьезно о «мировоззрении»? Даже немец, по-видимому, так далеко в своем «идеализме» не заходит. Владимир Семенович (молодой писатель в рассказе «Хорошие люди») искренне и глубоко верит в свои идеи – но даже о нем, несмотря на его очевидную комическую ограниченность, нельзя сказать, что он видел в своих идеях больше, чем привычные, ставшие второй природной обстановкой картинки. Жил он, разумеется, не идеями. Оттого-то Чехов и прав, когда пение *gaudeamus igitur*[30] и писание статей гуманного содержания он называет одинаково важным для Владимира Семеновича делом. Когда сестра Владимира Семеновича начинает думать, – самые высокие идеи ее брата, пред которыми она сама прежде благоговела, начинают ей казаться пошлыми и постылыми. Брат не понимает ни ее, ни ее вражды к прогрессу, гуманности, Татьянину дню, *gaudeamus igitur*. Чехов же понимает, Только, правда, слово «понимает» здесь не имеет своего обычного значения. Пока ребенок питался молоком матери, он всегда чувствовал себя ровно и легко. Когда же пришлось бросить молоко и начать пить водку, – а с возрастом это неизбежно: таков закон человеческий – младенческие сны наяву ушли в область невозвратного прошлого.

103

Философы восхваляют как высшую и достойнейшую цель нашего существования душевное спокойствие, *tranquillitas*. Но в таком случае идеалом для нас должны служить животные, которые в смысле невозмутимости не оставляют желать ничего. Посмотрите на пасущуюся овцу или корову. О прошлом они не вспоминают, о будущем не догадываются и целиком живут настоящим, которое, при наличии хорошего пастбища, их вполне удовлетворяет.

104

Голодному человеку дали кусок хлеба и сказали ласковое слово – ему показалась ласка дороже хлеба. Но если бы его только приласкали и не накормили, он, может быть, возненавидел бы добрые слова. Поэтому нужно всегда быть очень осторожным в заключениях – конечно, при предположении, что истина нужнее, чем утешающая ложь. Очень редко можно наблюдать связь изолированных явлений. Обыкновенно несколько причин вызывают сразу одно последствие. При нашей склонности к идеализированию мы всегда выдвигаем вперед ту причину, которая нам кажется наиболее возвышенной.

105

Странное противоречие: мы видим, как вокруг нас гибнут тысячи человеческих существ, и тем не менее продолжаем ходить осторожно, чтоб не раздавить червяка! Чувство сострадания живет в нас, но приспособленное к условиям нашего существования. Оно не может спасти всех – и потому, пред лицом ужасов жизни, молчит. Оно может кой-кому помочь – и поднимает часто ужаснейшие вопли по поводу маленькой несправедливости. А Шопенгауэр хотел сделать сострадание метафизической основой морали.

106

Отвергать логику как средство, как одно из средств или один из способов приобретения познания было бы нерасчетливо. Да и зачем? Ради последовательности? То есть ради логики же? Но логика как самоцель или даже как единственный способ познания – это дело иное: тут нужно бороться, хотя бы имел против себя все авторитеты мысли, начиная с Аристотеля.

107

«Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка... счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». Бывает и так, но бывает и иначе. Иной раз и нива волнуется, и лес шумит, и ручей нашептывает свои лучшие сказки, а человек все-таки не может постичь счастья и не забывает усвоенную им в детстве истину, что небо – это только оптическая иллюзия. Но если небо и безбрежные поля не убеждают, неужели аргументация Канта и десятков его большей частью бездарных толкователей может что-нибудь сделать?

108

Величайшее искушение. В «Великом инквизиторе» Достоевского кроется ужасная мысль. Кто может быть уверен, говорит он – иносказательно, конечно, – что распятому Христу, когда он произносил свои слова: «Господи, отчего ты покинул меня», не вспомнились слова злого духа, предлагавшего ему за один поклон власть над всем миром, и что, вспомнивши о них, он не раскаялся, что не принял предложения сатаны... О таких искушениях можно было бы и не рассказывать читателям...

109

Из будущих суждений о современной Европе: «Странную картину представляла нам Европа XIX, XX века. Христианство после Лютера выродилось в мораль, перерезавшую все нити, соединявшие человека с Богом. Вместе с рационализированием религии и вся жизнь приобрела плоско рациональный характер. Рыцарство заменилось постоянной армией, насильно вербовавшейся по принципу общей воинской повинности и существовавшей, главным образом, для парадов и придворных надобностей. Алхимия, искавшая философского камня, сменилась химией, изыскивавшей наилучшие способы дешевого изготовления дешевых продуктов; астрология, гадавшая по звездам о судьбах человека, сменилась астрономией, предсказывавшей солнечные затмения и появления на небе комет. Даже одежда людей этого периода странно обесцветилась: не только мужчины, но и женщины почти все носили одинаковое и одноцветное платье. Замечательнее всего, что эта эпоха не только не замечала своей незначительности – но гордилась собой. Людям того времени казалось, что никогда еще человечество не вносило так много в общую сокровищницу всемирного духовного богатства. Теперь, разумеется, мы улыбаемся их наивности, но если бы явился тогда кто-либо, кто позволил бы себе пренебрежительно отозваться об основах современной культуры, его немедленно обьявили бы безнравственным или бы посадили в сумасшедший дом: страшное наказание, очень обычное в то грубое время – теперь нам даже трудно себе представить, что оно влекло за собой. Но в те времена прослыть безнравственным или попасть в сумасшедший дом было страшнее, чем умереть. Один из известнейших поэтов XIX века, Александр Пушкин, писал: „Не дай мне Бог сойти с ума, нет, лучше посох и сума“. И вообще в те времена люди принуждены были всегда лгать и лицемерить, так что нередко самые светлые умы, презревавшие ошибки своей эпохи, притворялись верующими в науку и мораль, чтобы только избежать суда общественного мнения».

110

Сочиняющие трагедии по образцу Шекспира. Чтоб добыть искру – нужно ударить изо всей силы молотом по камню. При этом происходит большой шум, и многие склонны думать, что большой шум гораздо важнее, чем маленькая искра. Оттого-то часто писатели, наговоривши громких слов, глубоко уверены, что исполнили свое Святое назначение и очень удивляются, отчего это не все разделяют их восторг, и что многие даже бегут от них или затыкают уши.

111

Метаморфозы. Ум и глупость вовсе не природные свойства человека. Когда приходит настоящая нужда, глупый человек становится умным. За примером ходить недалеко: каким дурачком, разиней выглядит Достоевский в «Униженных и оскорбленных» – о «Бедных людях» я уже не вспоминаю. А в «Записках из подполья» и остальных своих произведениях – он умнейший и пронительнейший человек. То же можно сказать о Ницше, Толстом, Шекспире. Ницше в «Рождении трагедии» совсем имеет вид честного, но простоватого голубоглазого немецкого провинциального студента, а в «Заратустре» он кой-кому даже Макиавелли напомнил. За Брута много досталось бедному Шекспиру, но нет ни

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
одного человека, который бы отрицал великий ум в Гамлете. Но лучший пример – гр. Толстой: он до сих пор, когда ему вздумается – умней самого умного, но иной раз имеет вид школьника. Это в нем интереснейшая и завиднейшая черта.

112

У Шекспира в «Троиле и Крессиде» Терсит говорит по поводу Аякса: «Я его браню, а он меня бьет; я хотел бы, чтобы было наоборот». Достоевский мог бы то же сказать о своих противниках. Он преследовал их колкостями, сарказмами, негодованием, – а они доводили его до белого каления своим спокойствием и уверенностью... Современные поклонники Достоевского спокойно верят в идеи своего учителя. Не значит ли это, что они de facto предали его и перешли на сторону его врагов.

113

В нашей литературе упрочилось мнение, что тургеневские идеальные женщины (Наталья, Елена, Марианна) созданы по образцу и подобию пушкинской Татьяны. Едва ли это правильно: критиков обмануло внешнее сходство. У Пушкина Татьяна является весталкой, приставленной охранять священный огонь высокой, нравственности – но исключительно потому, что это дело не пристало мужчине. Самозванец в «Борисе Годунове» отвечает старику Пимену, проповедующему кротость и смирение: «Ты воевал под башнями Казани» и т. д. Это – дело мужчины. В часы же досуга и отдыха ему нужен домашний очаг, и он хочет быть уверенным, что дома его права надежно охранены. В том и смысл последних слов Татьяны: «Я другому отдана и буду век ему верна». У Тургенева же женщина является судьей и наградой (а иногда и вдохновительницей) победителя-мужчины. Разница – слишком велика.

114

Из немецкого «Введения в философию»: «Мы останемся при мнении, что метафизика, как завершение специальных наук, возможно и желательна, и что на ее долю прежде всего выпадает деятельность, промежуточная между теорией и практикой, опытом и надеждой, разумом и чувством, заключающаяся во взвешивании вероятностей, уравнивании аргументов, примирении разногласий». [31] Итак, метафизика есть взвешивание вероятностей. Ergo [32] – дальше вероятных заключений она идти не может. Почему же метафизики претендуют на всеобщие и необходимые, прочные и вечные суждения? Не по чину берут. В области метафизики прочных убеждений не может и не должно быть. Слово «прочность» здесь теряет всякий смысл. Уместно говорить о вечном колебании и шатании мысли.

115

Из другого введения в философию, тоже немецкого: «В сравнении с заблуждением материализма... самый несчастный идолопоклонник представляется существом, которому все же открыто хоть какое-нибудь предчувствие великого смысла и сущности вещей». [33] Может быть, эта мысль случайно прибилась к огромному стаду других мыслей почтенного профессора – так мало она похожа на то, что он обыкновенно говорит. Но даже и в таком случае она не теряет своего интереса. Если материалисты прошлого, XIX столетия, о которых здесь идет речь, – Бюхнер, Фохт, Молешотт, – все люди, стоявшие, как известно, на высоте современного естественнонаучного образования, могли оказаться в области философии более несведущими, чем нетронутый цивилизацией дикарь, то, стало быть, наука не только не имеет ничего общего с философией, но прямо враждебна ей. И стало быть, нам нужно идти к дикарям не затем, чтобы насаждать у них культуру, а чтобы учиться у них философии. Папуас или житель Огненной Земли, читающий лекции по философии ординарному профессору Берлинского университета Фридриху Паульсену – зрелище любопытное! Я говорю Паульсену, а не Бюхнеру или Молешотту, ввиду того, что Паульсен ведь тоже образованный человек, так что, вероятно, его философские предчувствия пострадали от соприкосновения с наукою если не настолько же, как у материалистов, то во всяком случае достаточно для того, чтобы потребовалась помощь краснокожего учителя. И отчего у немецких профессоров так мало смелости и предприимчивости? Что бы Паульсену по собственному почину съездить в Австралию усовершенствоваться в философии? Или бы, по крайней мере, отправлять туда учеников своих и везде, где можно, проповедовать идею нового паломничества? А то придумал оригинальную и плодотворную мысль и забился с ней в дальний угол, так что и при желании ее не разглядишь

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
хорошо. А мысль важная и серьезная: современным философам не мешало бы поучиться у дикарей...

116

Из истории этики: «Сомнения в существовании или в возможности познания всякой вообще нравственной нормы были, разумеется (подчеркнуто мною), побуждением к новому умозрительному обоснованию ее, подобно тому как отрицание возможности знания только повело к отысканию его условий». С этим положением автор не прячется, как Паульсен со своими. Оно у него помещено в красном углу, на самом видном месте сочинения. И сопровождается таким герольдом, как «разумеется». Но на самом деле тут разумеется только одно: что большинство ученых разделяет суждения пр. Йодля, которому принадлежат приведенные слова. Так что предпосылка этики имеет своим основанием *consensus sapientium*. [34] достаточно?

117

«Нормативная теория», так распространившаяся в Германии и имеющая немало последователей в России, носит на себе печать той беспечной уверенности, которой отличается всякая удовлетворенность, не желающая даже для теоретической полноты считаться с расколотостью духа, сопутствующей обыкновенно неудовлетворенности. Виндельбанд (*Praludien*, 313) свидетельствует об этом с наивной откровенностью почти неодоушевленного предмета – и не только не стесняется своих показаний, но даже гордится ими: «философское исследование, – говорит он, – возможно лишь меж теми, которые убеждены, что норма общеобязательного стоит над индивидуальными деятельностями и что таковая может быть отыскана». Не всякий свидетель станет так честно показывать! Оказывается, что философское исследование не есть отыскание истины, а заговор между людьми, условившимися свергнуть истину и возвести на ее трон общеобязательную норму. Задача поистине этическая: нравственность всегда была и будет утилитарною. Ее принцип: кто не за нас, тот против нас.

118

«Если бы кроме доходящей до нас действительности существовала еще одна, хаотическая и не знающая закона, она бы не могла быть предметом мышления» (*Riehl, Philosophic der Gegenwart*, 127). В этом одна из предпосылок критической философии. Недоказанных – само собою разумеется. Иными только словами в ней выражается приведенная выше мысль Виндельбава об этическом основании закона причинности. Таким образом, предпосылки современного мышления все яснее убеждают нас, что инстинкт не обманул ницше: корень нашего мировоззрения не в объективных наблюдениях, а в запросах нашего «сердца», в субъективных, моральных требованиях, а потому победить науку можно не иначе, как уничтожив предварительно мораль.

119

Из возвышенных трюизмов: «философ побеждает страсть, постигая ее, художник – воплощая». По-немецки это звучит еще возвышеннее, но от этого к истине не приближается: «*Der Philosoph überwindet die Leidenschaft, indem er sie begreift – der Künstler, indem er sie darstellt*» (*Windelband, Praludien*, 198).

120

Немцы все добиваются *Allgemeingültigkeit*. [35] Меж тем, если задача познания – исчерпать всю глубину действительной жизни – то ведь опыт, поскольку он повторяется, не интересен или, по крайней мере, имеет ограниченный интерес. Важно узнать то, чего еще никто не знает, даже не предчувствует, а потому нужно идти не по общей дороге *Allgemeingültigkeit*, а по новым, еще не видавшим человеческой ноги тропинкам. Оттого мораль, дающая известные правила и тем оберегающая на некоторое время жизнь от сюрпризов, имеет условное значение и в конце концов пасует пред аморальной своеобразностью отдельных человеческих стремлений. Законы – все – имеют регулирующее значение и нужны ищущему отдыха и поддержки человеку. Но первое и существенное условие жизни – это беззаконие. Закон – укрепляющий сон. Беззаконие – творческая деятельность.

121

A = A. Говорят, что логика не нуждается в этом положении и легко может, развивая свои выводы, избежать его. Не думаю. Наоборот, на мой взгляд, без этого положения логика решительно не может существовать. А между тем, оно имеет чисто эмпирическое происхождение. Фактически, действительно, A всегда более или менее равняется A. Но могло быть иначе. Мир мог бы быть так устроен, что допускал бы самые фантастические метаморфозы. То, что теперь равняется A, через секунду равнялось бы B, потом C и т. д. Теперь камень есть и довольно долго остается камнем, растение – растением, животное – животным. Но могло бы быть, что камень обращался бы на наших глазах в растение, а растение – в животное. Что в таком предположении нет ничего немислимого, доказывается существованием эволюционистической теории. Она только вместо секунды подставляет тысячелетия – т. е. те же секунды, сравнительно с вечностью. Так что, рискуя навлечь на себя со стороны поклонников известного эпикуровского принципа упрек в бесстыдстве, я принужден снова повторить, что все, что угодно, может произойти из всего, что угодно, что A может не равняться A и что логика, следовательно, обязана своей достоверностью эмпирически наблюдаемому закону сравнительной неизменности существующих вне нас вещей. Допустите возможность сверхъестественного вмешательства – и логика растеряет столь привлекающие умы несомненность и общеобязательность своих выводов.

122

Стремление понять людей, жизнь и мир мешает нам узнать все это. Ибо «познать» и «понять» два понятия, имеющие не только неодинаковое, но прямо противоположное значение, хотя их часто употребляют как равнозначные, чуть ли не как синонимы. Мы считаем, что поняли какое-нибудь новое явление, когда включили его в связь прочих, прежде известных. И так как все наши умственные стремления сводятся, к тому, чтобы понять мир, то мы отказываемся познавать многое, что не укладывается на плоскости современного мировоззрения. Например, лейбницевский вопрос, поставленный Кантом в основание критики разума: как можем мы познать находящуюся вне нас вещь, если она не входит в нас? Это непонятно, т. е. не мирится с нашим представлением о понимании. Значит – это нужно вытеснить с поля зрения, что и попытался сделать Кант. А казалось бы, наоборот; казалось бы, что в интересах знания нужно бы жертвовать – и очень охотно – пониманием, ибо понимание есть все-таки второстепенная вещь: *zu fragmentarisch ist Welt und Leben!*..

Часть вторая

Nur für Schwindelfreie! [36]
(Из альпийских воспоминаний)

1

Свет открывает человеку красоту – но он же открывает нам и безобразие. Плесните кислотой в лицо красавице, и пропала ее красота, и нет в мире той силы, которая могла бы нас заставить с прежним восторгом глядеть на ее изуродованное лицо: я не знаю, преодолет ли самая глубокая и искренняя любовь такую метаморфозу. Идеалисты, правда, говорят, что преодолет, идеалисты вообще спешат говорить, ибо совершенно основательно боятся, что если они хоть на минуту запнутась и между поставленным им вопросом и полученным ответом пройдет столько времени, сколько нужно, чтоб увидеть, то, пожалуй, выяснятся такие вещи, которые выяснению не подлежат. Оттого они так крепко держатся логики. Логика в мгновение ока переводит нас к самым отдаленным выводам и предсказаниям – никакая действительность не угонится за ней. Любовь вечна – следовательно, обезображенная женщина будет так же мила нам, как если бы с ней ничего не приключилось. Это, конечно, ложь, но, благодаря такого рода лжи, можно сохранять старые вкусы и не видеть грозящей им опасности. Но ведь действительная опасность никогда не устранялась словами и теориями. Сколько бы Шиллер ни воспевал вечную любовь – в конце концов, рано или поздно, кислота окажется победительницей, и прекраснодушный юноша вынужден будет покинуть свою возлюбленную и признать себя обманщиком. Свет, тот свет, который был для него источником жизни и надежд, разрушит и жизнь его, и надежды. Что тогда делать? К идеализму он не вернется, логику возненавидит, свет, который ему казался столь прекрасным – опротивеет ему. Он начнет искать тьмы, ибо тьма дает свободу, ибо во тьме царствует не логика, обязывающая к заключениям, а фантазия с ее произволом. Без света мы никогда бы не узнали, что кислота могла обезобразить красоту. Без света мы были бы победителями над

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
действительностью. Никакая наука, ни одно искусство не может дать того, что приносит с собою тьма. Правда, в молодости, когда мы только вступили в жизнь, когда у нас не было ничего, и когда мы искали впечатлений во внешнем мире, свет принес нам так много счастья и радости. Будем же вспоминать о нем с благодарностью, но как о благодетеле, в котором мы больше не нуждаемся. А то, пожалуй, можно и без благодарности обойтись: благодарность ведь все-таки принадлежит к тем мещанским добродетелям, которые живут расчетом – *do, ut des*. [37] Так что забудем и свет, и благодарность, и опасения суетливого идеализма и смело пойдем навстречу надвигающейся ночи. Она обещает нам великую власть над собою и над действительностью. Стоит ради этого отказаться от старых вкусов и возвышенных убеждений?.. Любовь и свет не справились с кислотой. Какой ужас охватывал нас когда-то при мысли, что эта короткая фраза может смести всего Шиллера! Мы закрывали глаза, мы затыкали уши, мы строили огромные философские системы, чтоб оградить себя от этой маленькой истины. А теперь – теперь нам начинает казаться, что не жалко Шиллера и великих систем, не жалко и прошлой веры. Теперь мы ищем слов и звуков, чтоб воспеть своего недавнего врага. Ночь, темная, глухая, непроглядная, населенная ужасами ночь – не кажется ли она вам иногда бесконечно прекрасной? И не манит ли она вас своей тихой, но таинственной и бездонной красотой больше, чем ограниченный и крикливый день? Кажется – еще немного, и человек почувствует, что та же непонятная, но заботливая сила, которая выбросила нас в этот мир и научила нас, как растения, тянуться к свету, постепенно приуговоря нас к свободной жизни, переводит нас в новую сферу, где нас ждет новая жизнь с ее новыми богатствами. *Fata volentem ducunt, nolentem trahunt*. [38] И быть может, недалеко то время, когда вдохновенный поэт, в последний раз окинув прощальным взором свое прошлое, смело и радостно воскликнет:

Да скроется солнце, да здравствует тьма!

2

Психологические изыскания обыкновенно приводят объективного исследователя к заключению, что самые великодушные человеческие стремления в последнем счете вырастают из эгоистических мотивов и побуждений. Так, например, проповедуемая гр. Толстым «любовь к ближним», бескорыстная и самоотверженная на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении оказывается своеобразной формой любви к самому себе. То же можно сказать об идеализме Канта и даже самого Платона. Хотя они выдвигают на первый план идею и прославляют служение ей, но на самом деле им так же мало удастся выйти из заколдованного круга «эгоизма», как и самым обыкновенным смертным, не отмеченным печатью гениальности и даже не имевшим возможности приобщиться к плодам культуры. Это в моих глазах «почти» абсолютная истина. (Ограничительное «почти» никогда не мешает прибавить: истина тоже склонна зазнаваться и злоупотреблять своими державными правами. До некоторой степени ограничить ее – значит обеспечить себя от капризного произвола ее деспотизма). Итак – все люди эгоисты. Из этого следует многое: я даже думаю, что это положение может дать гораздо больше оснований для «метафизических» выводов, чем казавшаяся до сих пор такой проблематической и в силу того наиболее соблазнявшая к трансцендентным заключениям способность к состраданию и любовь к ближнему. Люди почему-то вообразили, что любовь к себе понятнее и естественнее, чем любовь к другому. Ошибка. Я нахожу по меньшей мере одинаково понятным или непонятным и то, и другое чувство. Любовь к ближним только сравнительно реже встречается и меньше распространена, чем любовь к себе. Но ведь гиппопотамы и носороги, даже на своей родине, в жарком поясе, тоже реже встречаются, нежели лошади и мулы: разве из этого следует, что они менее естественны и трансцендентны? Позитивизм не обязателен даже для кровожадного язычника. Как известно, многие дикари гораздо менее позитивно настроены, чем современные ученые. Они, например, будущую жизнь принимают за такую несомненную реальность, что заключают долговые обязательства, подлежащие уплате в ином мире. Немецкий метафизик, несмотря на всю свою гуманность, на это не пойдет. Значит, нет никакого основания полагать, что путь к познанию иного мира ведет через любовь, сострадание и самоотречение, как учил Шопенгауэр, Скорей наоборот даже. Сострадание и любовь к людям являясь препятствием для метафизического полета. Благодаря им человеческий взор приковывается к земле, где так много горя и страдания и где открывается такое обширное поприще для деятельной любви. Материалисты, как известно, были большей частью очень добрыми людьми – обстоятельство, немало смущавшее историков философии. Проповедуют материю, ни во что не верят, а готовы на всяческие жертвы ради ближнего. Как это примирить, как понять? Но ведь тут пред нами

один из типических случаев яснейшей логической последовательности: человек любит ближнего, видит, что небо безучастно к земному горю, и потому сам берет на себя роль благого провидения. Если бы он был равнодушен к страданиям других, он легко бы стал идеалистом, поручил бы, как это часто делалось, ближних судьбе, а сам занялся бы собственными делами и заботами. Любовь к ближним и сострадание убивает в человеке веру и делает его в философских воззрениях позитивистом или материалистом. Когда он видит чужое горе – он перестает размышлять, ибо хочет действовать. Думать, настоящим образом думать человек начинает только тогда, когда он убеждается, что ему нечего делать, что у него руки связаны. Оттого, вероятно, всякая глубокая мысль должна начинаться с отчаяния. И наоборот – оптимизм, торопливую готовность перескакивать от заключения к заключению можно без всякого колебания считать верным признаком ограниченного, не любящего сомнений самодовольства – а, стало быть, и поверхностности. Если человек предлагает вам разрешение вечных вопросов – значит, он не начинал о них думать, значит, он еще вообще не думал, он только «действовал». Может быть, думать совсем и не следует: кто расскажет нам, как следует и как не следует жить в этом мире! И еще: кто заставит нас жить, как следует, когда наше собственное существо было, есть и, видно, всегда останется для нас неразгаданной тайной! Несомненно, думать никто не хочет – я, разумеется, говорю не о логическом мышлении, к которому все высказанные соображения не имеют никакого отношения. Логическое мышление, как и всякое естественное отправление, доставляет человеку большое наслаждение. Поэтому философские системы, трактующие о последних вопросах нашего существования, возбуждают к себе в публике большой и постоянный интерес, как бы мудрено они ни были построены – только бы они не требовали от человека ничего другого, кроме логической работы ума. Но думать – ведь значит махнуть рукой на логику; думать, значит жить новой жизнью, изменяться, постоянно жертвовать самыми дорогими и наиболее укоренившимися привычками, вкусами, привязанностями – притом, не имея даже уверенности, что все эти жертвы будут хоть чем-нибудь оплачены. Художники и мыслители представляют себе думающего человека непременно в импонирующей позе: строгое лицо, глубокий взор, вдохновенно направленный вдаль, гордая осанка – орел, готовящийся к полету. Ничего подобного! Думающий человек есть прежде всего человек, потерявший равновесие в будничном, а не в трагическом смысле этого слова. Растопыренные руки, болтающиеся в воздухе ноги, испуганное и наполовину бессмысленное лицо, словом, самая карикатурная и жалкая картина беспомощности и растерянности. Как пример – вероятно, недоверчивый читатель давно уже ждет примера – старик Тургенев, его стихотворения в прозе и последнее письмо к Толстому. Мопассан так рассказывал о своей встрече с Тургеневым: вошел великан с серебряной головой. И все мы привыкли считать своего старого любимого учителя величественным, гордым и спокойным патриархом. Он великан, и у него была серебряная голова, – иначе мы не поклонялись бы ему, не учились бы у него. Среди людей крепко держится миф о великанах и серебряных кудрях. И вдруг стихотворения в прозе – бледные, жалкие, трепетные, беспокойные, как наполовину подстреленная птица. Тургенев нас всему учил, стало быть, он все знал – как мог он так потеряться, так испугаться? Как мог он написать свое письмо к графу Толстому? Он, умный и пронзительный человек, разве он не знал, что его увещания не произведут никакого действия и я, что гр. Толстой исчерпал до дна все свои старые темы, что источник его творчества иссяк и что ему нужно было искать другого дела? Знал, конечно – и если все-таки написал свое письмо, то вовсе не ради Толстого и не ради русской литературы, которая, конечно, держится не предсмертными письмами и заветами ее столпов. Тургенев в страшную минуту, несмотря на свой великанский рост и серебро на голове, не знал, что говорить, куда направить свой угасающий взор, где искать опоры и утешения. И он вспомнил о литературе, которой он отдал всю свою жизнь... Он попытался, не захочет ли она, которой он так долго и верно служил, хоть раз послужить ему – спасти его от страшного и трижды бессмысленного кошмара. Он протягивал свои иссохшие и коченеющие руки к печатным листам, сохранившим на себе следы душевной работы жившего и страдавшего человека. Он назвал своего бывшего врага самым лестным именем – великим писателем земли русской и вспомнил, что был его современником, что был и сам великим писателем земли русской. Он этого не сказал вслух, он сказал только, «не могу больше» – как бы возмутились и расхохотались все, если бы он стал вспоминать о своих заслугах! Он прошел строгую школу литературного и светского воспитания и даже в последние минуты старался сохранить, насколько возможно, осанку, приличную великану с серебряной головой. И мы вполне удовлетворились! Те же люди, которые негодуют по поводу переписки Гоголя, с благоговением цитируют письмо Тургенева. Поза – это все. Тургенев сумел сносно притвориться – и ему поставили это в великую заслугу. *Mundus vult*

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
decipi – ergo decipiatur.[39] Но, в существе. Гоголь и Тургенев испытали одно и то же. Если бы Тургенев сжег перед смертью свои сочинения и говорил о себе, а не о Толстом – его сочли бы за сумасшедшего. Моралисты стали бы, может быть, укорять его в крайнем проявлении эгоизма... А философия? Философия, кажется, начинает освобождаться от некоторых предрассудков. Гоголь и Тургенев ставили свою личную судьбу выше судеб русской литературы и в те именно минуты, когда люди менее всего способны лицемерить и лгать перед собой... Не выдали ли они нам «тайны»? Не следует ли в абсолютном эгоизме видеть неотъемлемое и великое, да, великое свойство человеческой природы? Психологические изыскания, пренебрегшие угрозами морали, привели к новому знанию?.. И все-таки, несмотря на приведенные разъяснения, толпа по-прежнему будет склонна видеть «обличения» во всех попытках найти под «возвышенными» порывами человеческого побуждения. Быть человеком кажется унижительным. И теперь в моем истолковании тургеневского письма увидят разоблачения – какие бы уверения ни предлагал я.

3

К учению о методах. Какой-то естествоиспытатель произвел следующий опыт: в стеклянный сосуд, разделенный на две половины стеклянной же, совершенно прозрачной перегородкой, поместил по одну сторону щуку, а по другую – разную мелкую рыбу, которая обыкновенно служит щуке добычей. Щука не заметила прозрачной перегородки и бросилась на добычу, но, разумеется, только зашибла пасть. Много раз проделывала она свой опыт – и все с теми же результатами. Под конец, видя, что все ее попытки так печально кончаются, щука уже больше не пробовала охотиться, так что даже когда через несколько дней перегородку вынули, она предложила спокойно плавать между мелкой рыбой и уже боялась нападать на нее... Не происходит ли то же и с людьми? Может быть, их предположения о границах, отделяющих «посюсторонний» мир от «потустороннего», тоже, в сущности, опытного происхождения и вовсе не коренятся ни в природе вещей, как думали до Канта, ни в природе нашего разума, как стали утверждать после Канта. Может быть, перегородка действительно существует и делает тщетными обычные попытки перебраться за известные пределы познания – но, вместе с тем, может быть, в нашей жизни наступает момент, когда перегородка уже вынута. Но тогда в нас уже прочно укоренилось убеждение, что дальше известной черты нельзя идти, что дальше будет больно. Убеждение, основанное на опыте. Тут-то бы и следовало вспомнить старый скептицизм Юма, который в идеалистической философии принято считать только тонкой игрой ума, потерявшей всякий интерес и значение после критики Канта. Самый продолжительный и разнообразный опыт не может привести ни к одному обязательному и всеобщему заключению. И наоборот, все наши так называемые a priori – оказывающие большую практическую пользу, рано или поздно начинают приносить большой вред. Философу нужно не бояться боли скептицизма и продолжать без конца свои опыты, не смущаясь безрезультатностью предыдущих попыток и перспективой крепко зашибить пасть. Может быть, неудача метафизики в том и коренилась, что метафизики, очень бескорыстные и смелые на вид, в сущности были чрезвычайно расчетливы и боязливы. Они прежде всего добивались покоя – ведь на философском языке высшим благом называется покой. А им бы следовало оценить выше всего постоянное беспокойство, бесцельное и непланомерное даже. Как знать, когда вынется перегородка? Весьма вероятно, что именно в тот момент, когда человек перестал гнаться за добычей, разрешил все свои вопросы и почил на лаврах, т. е. застыл в неподвижности, он мог бы одним смелым и сильным движением перелететь через заколдованную черту, отделяющую от него область непознаваемого. И вовсе нет надобности, чтобы движение его было результатом заранее обдуманного плана. Это уже чисто эстетическое требование, которым не грех и поступиться. Пусть человек бессмысленно и исступленно колотился головой о стену – но если в конце концов стена подалась, разве мы будем оттого меньше торжествовать нашу победу? Наше горе в том, что люди создали себе иллюзию, будто бы планомерность наиболее всего обеспечивает успех! Боже, какое это заблуждение: ведь почти несомненно обратное. Все наиболее замечательное, что создавалось гением, являлось результатом фантастического, бестолкового, казавшегося всем смешным и ненужным, но упорного искания. Знал разве Колумб, что по ту сторону океана лежит новый материк? Ему не сиделось на месте, и он поплыл на Запад искать нового пути в Индию. Да и вообще гений, вопреки общераспространенному предрассудку, самое бестолковое, а потому и самое беспокойное существо. Недаром еще в древние времена гения считали сродни помешанному. Гений обыкновенно бросается из стороны в сторону главным образом потому, что у него нет того *Sitzfleisch*, [40] который является залогом успеха трудолюбивой посредственности. Можно с уверенностью сказать, что гениальных людей было

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
гораздо более на свете, чем вписано на страницы истории славных имен. Ибо гения признают только тогда, когда он сделает что-либо полезное для человечества. В тех же случаях, когда метания гения не приводят ни к каким осязательным результатам – а нужно думать, что большей частью именно так и бывает – он возбуждает в окружающих людях только чувство отвращения и омерзения. Сам не знает покоя и другим покоя не дает. Если бы Достоевский или Лермонтов жили в такие времена, когда спрос на книги не существовало, их бы никто не заметил. О преждевременной смерти Лермонтова даже не пожалели бы. Пожалуй еще какой-нибудь добродетельный и уравновешенный гражданин, которому надоели вечные и опасные причуды Лермонтова, сказал бы: собаке собачья смерть! То же о Гоголе, Толстом, Пушкине. Теперь их прославляют, потому что они оставили интересные сочинения!.. И так, утверждения о бесплодности и ненужности скептицизма не заслуживают никакого внимания – даже в том случае, если речь идет о самодовлеющем скептицизме, который не имеет своей целью отыскание какой-нибудь новой системы (за таким скептицизмом, как известно, признается законное право на существование – философы даже убеждены, что другого скептицизма не бывает), который не имеет вообще никаких заранее поставленных целей. Колотиться головой об стену из ненависти к стене и еще более из ненависти ко всем тем «идеям», которые предлагаются нам взамен настоящей разгадки вечной тайны – перспектива не заманчивая?! Но ведь зато впереди – неизвестность и самые широкие возможности взамен нынешних «идеалов»?! И это не соблазняет? Высшее благо есть покой? Не стану спорить: *de gustibus aut nihil aut bene*...[41] Кстати, – не правда ли, превосходный принцип? А меж тем он, как и многое другое превосходное, добыт совершенно случайно и не мной, к сожалению, а одним из комических персонажей чеховской «Чайки». Перепутал две латинских поговорки, и вышло синтетическое суждение хоть куда, которому для того, чтобы стать априорным, недостает только общеобязательности. Я боюсь, что догматики не согласятся так терпимо отнестись ко вкусам своих противников. Скорей будут браниться и негодовать. Ибо как догматикам обойтись без негодования? Доказательств у них нет, и вся их хваленая устойчивость держится только на «морали»...

4

Метафизики восхваляют трансцендентное, но тщательно избегают соприкосновения с ним. Ницше ненавидел метафизику, воспевал землю – *bleibt mir der Erde treu, o meine Bruder*[42] – и всегда жил в области трансцендентного. Метафизики, конечно, поступают «лучше» – это очевидно и бесспорно. Тот, кто хочет быть учителем, должен проповедовать метафизическую точку зрения: она дает возможность прослыть героем человеку, никогда не нюхавшему пороха. А так как учитель обязан доставлять своим ученикам возможность достигать значительных целей без всякого риска и при минимальной затрате сил, то, стало быть, в те тревожные периоды, когда позитивизм перестает казаться людям достаточно исчерпывающим выражением всей сложности жизни и когда, соответственно этому, людям начинает казаться неприлично изображать из себя положительность – в такие времена нет лучшего выхода, чем обратиться к метафизическим теориям. При помощи хорошей метафизической теории даже безродный юноша, не исходивший и десятой доли позитивных путей, сразу приобретает таинственный и интересный вид всеведущего мудреца. Он даже имеет право презирать позитивизм и – это самое главное – позитивистов. Он становится первым пред целой массой последних – чуть ли не пред всем человечеством, не имеющим доступа к ученым книгам и потому не знающим никаких теорий. И такой блестящий результат достигается посредством чтения десятка-другого сочинений – правда, скучноватых и неудобовоспринимаемых. Естественно, что и ученик, и учитель проникаются глубоким уважением к трансцендентному, которое дает столь ценные для нашего самолюбия prerogative не там, в проблематической иной жизни, а здесь, в этом несомненном для всех мире. В наше время юноше не приходится завидовать Александру Македонскому, успевшему в молодые еще годы завоевать весь мир. Теперь, при помощи книг, завоевываются не только земные государства, но вся вселенная! Метафизика есть великое искусство обходить опасный жизненный опыт. И потому метафизики могут быть названы позитивистами *par excellence*. [43] Они презирают не всякий опыт, как они утверждают, а только опасный опыт. Чувство самосохранения и способность к приспособлению в них настолько развиты, что еще задолго до появления врага они начинают готовиться к защите. И пользуются безопаснейшим способом борьбы – тем, что англичане называют *timicry*. [44] Чуть приблизится трансцендентное – метафизик уже почти рефлексивно, без всяких усилий воли до неузнаваемости окрасился в трансцендентные цвета. Постулаты свободы воли, бессмертия души, даже Бога – разве может кто-нибудь эти и им подобные утверждения

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
заподозрить в позитивности? И как метафизикам, столь легко разделившимся с «метафизической потребностью», не любить трансцендентного? И как примириться им с Ницше и с его ненавистью к трансцендентному, ставшему для него чуть ли не повседневной атмосферой? А потому правило – для учеников, разумеется: учителя и без меня знают – тот, кто хочет быть искренним метафизиком, должен самым тщательным образом избегать рискованных экспериментов. Шиллер когда-то поставил вопрос: как может трагедия доставлять людям наслаждение? Ответ – если передать его «своими словами», – гласил: чтоб испытать наслаждение от трагедии, нужно ее видеть только со сцены. Чтоб любить трансцендентное – нужно его тоже видеть только со сцены или в книгах философов. Это называется идеализмом, самым красивым словом, какое только было изобретено до сих пор философствовавшими людьми.

5

Poëtae nascuntur.[45] – Удивительное существо человек! Там, где он не может, он утверждает, что существует объективная невозможность. Еще в прошлом столетии, до изобретения телеграфов и телефонов, человек с уверенностью сказал бы, что невозможно переговариваться Европе с Америкой. Теперь это стало возможным. Мы не умеем воспитывать поэтов и говорим, что поэты рождаются. Разумеется, если мы заставим ребенка изучать различные литературные образцы, начиная с древнейших и кончая новейшими, то этим мы из него не сделаем поэта, точно так же, как никто бы нас не услышал в Америке, как бы громко не кричали мы в Европе. Чтоб сделать человека поэтом, его вовсе не нужно «развивать» в общепринятом смысле. Может быть, следует от него прятать книги. Может быть, нужно произвести над ним какую-нибудь операцию, которая в наших глазах угрожает ему только опасностью, даже гибелью, например – проломить ему голову или выбросить его из четвертого этажа. Я понимаю, насколько рискованны эти средства, и отнюдь не собираюсь рекомендовать их для общего употребления взамен старых педагогических приемов. Но не в этом дело! Почитайте историю великих людей и поэтов! Кроме Джона Стюарта Милля и еще двух-трех положительных мыслителей, у которых были ученые отцы и добродетельные матери, никто из замечательных людей не может похвалиться – нужно было бы сказать – пожаловаться на правильное воспитание. В их жизни почти всегда решительную роль играл случай, который наш разум наверное назвал бы бессмысленным, если бы разум имел смелость возвышать свой голос даже и тогда, когда он имеет против себя несомненный успех. Что-нибудь вроде проломленного черепа или прыжка из четвертого этажа – и не только метафорически, а нередко и в буквальном смысле этих слов – таково обыкновенно начало деятельности гения, иногда видимое, большей же частью скрытое. А мы затвердили: poet? nascuntur, и глубоко убеждены, что это необыкновенная истина, настолько возвышенная, что ее и проверять не нужно.

6

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Уже Писарев возмущался этими стихами, и нужно полагать, что если бы они не принадлежали Пушкину, вся критика давно бы осудила их – а с ними и их автора, ибо какой смысл осуждать творение и обелять творца? Странные, подозрительные стихи! Пока поэта не призвал Аполлон – он ничтожнейший из смертных! Обыкновенный человек в часы, свободные от обязательного или добровольного труда, находит себе более или менее интересное и благородное развлечение: он охотится, посещает выставки и театры, наконец, отдыхает в своей семье. Но поэт не способен к нормальной жизни. Чуть Аполлон освободит его от службы, он сейчас же, забыв алтарь и жертвоприношение, начинает заниматься какими-нибудь гадостями или пустяками. Или же предается совершенному бездействию: обычное времяпрепровождение всех любимцев Муз. Нужно заметить, что не только поэты, но и все вообще писатели, артисты и художники большей частью ведут очень дурную жизнь. Вспомните, что гр. Толстой рассказывает в «Исповеди» и других своих сочинениях о лучших представителях литературы 50-х годов. И ведь рассказывает, в сущности, правду, т. е. то же, что и Пушкин в своих стихах. Пока писатель сочиняет – т. е. думает и пишет, – он чего-нибудь стоит: но вне исполнения своих

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
обязанностей он ничтожнейший из людей. Является вопрос: отчего Аполлон и Музы так неразборчивы и вместо того, чтоб награждать высокими дарованиями добродетель, они приближают к своим особам порок. Заподозрить в дурных намерениях богов, хотя бы и свергнутых, у нас нет никакого основания. Наверное, Аполлон любил добродетельных людей – но, очевидно, добродетельные люди безнадежно посредственны и совсем не годятся в жрецы. Так что если кому-нибудь из них слишком захочется попасть на службу к светлому богу песен, то первым делом ему нужно проститься со своими добродетелями. Люди это менее всего подозревают и обыкновенно думают, что именно добродетелью можно легче всего заслужить расположение и милость Аполлона. И так как на земле главной добродетелью считается трудолюбие, то они стараются, не покладая рук, работать, днем и ночью, утром и вечером. И, конечно, чем больше они работают, тем меньше выходит толку. Они не понимают, что это значит, начинают злиться, выходить из себя, роптать. Они даже забывают святое искусство, которому хотели отдать себя, бросают неблагодарный труд, начинают предаваться лени и другим порокам. И иногда бывает, что именно в этот момент, когда сам человек и все его близкие менее всего считают его достойным милости богов, его вдруг начинают посещать так долго не являвшиеся на зов Музы. Так было, например, с Достоевским и со многими другими значительными поэтами. Один Шиллер как будто бы ухитрился обойти Аполлона. А может быть, он обошел своих биографов: немцы так доверчивы, их так легко обмануть. Они, например, не видели ничего странного в том обстоятельстве, что Шиллер имел обыкновение во время работы держать ноги в холодной воде. И что значит, если бы он жил у экватора, где вода ценится на вес золота и где поэт не только не может каждый день брать ножную ванну, но не всегда может вволю напиться, то, может быть, в речах маркиза Позы убыло бы наполовину благородства. Вероятно, Шиллер тоже не был таким уже непорочным, если ему для составления возвышенных речей требовалось искусственное возбуждение. Словом, так или иначе – свидетельству Пушкина не верить нельзя. Поэт, с одной стороны, – избранник, с другой – ничтожнейший из людей. Отсюда, если угодно, можно сделать очень утешительный вывод: ничтожнейшие люди вовсе не так уже ни на что не нужны, как это принято думать. Они не годятся в чиновники или профессора, но на Парнасе и других возвышенных местах их встречают с распростертыми объятиями. Порок награждается Аполлоном, добродетель, как известно, настолько довольна собой, что ни в какой награде не нуждается. Чего воют пессимисты? Лейбниц был совершенно прав: мы живем, в лучшем из возможных миров. Я предложил бы даже опустить ограничивающее слово «возможных»...

7

Das ewig weibliche[46] у русских писателей. – Пушкин и Лермонтов не боялись женщин и любили их. Пушкин, доверявший своей натуре, любил много раз и всегда воспевал тот род любви, которому он предавался в данную минуту. Когда он увлекался вакханками, он воспевал вакханок. Когда он женился, он забыл свои молодые увлечения и выше всего ценил скромную смиренницу, жену свою. Синтетический ум, вероятно, не знал бы, что ему делать со всеми видами любви Пушкина. Которому отдать предпочтение? А не отдать предпочтение нельзя, ибо как иначе получить единство? Не лучше обстоит дело и с Лермонтовым. Он всегда бранил женщин, но, как еще заметил Белинский после своей встречи с ним, больше всего на свете любил женщин – и опять-таки не женщин какого-нибудь определенного типа и душевного склада, а всех интересных и увлекательных женщин: дикую Беллу, милую Мери, Тамару, словом, без различия племен, наречий, состояний. И с Лермонтовым моралист (или синтетический ум – это одно и то же: поскребите синтетического философа и вы найдете моралиста) ничего не может поделать. Каждый раз, когда Лермонтов любит, он уверяет, что его любовь очень глубока и даже нравственна, и так горячо и искренне об этом рассказывает, что совестно его судить. Один Вл. Соловьев не побоялся выступить с обличениями. Он и Пушкина, и Лермонтова привлекал к ответственности по поводу нарушения различных правил морали и даже утверждал, что это не он сам судит, что он только глашатай Судьбы. И Лермонтов, и Пушкин заслужили смерти своим легкомыслием. Но кроме Вл. Соловьева никто не тревожил памяти великих поэтов. Гр. Толстой, разумеется, не в счет. Гр. Толстой не может простить Пушкину его распутной жизни и даже для приговора не считает нужным обращаться к Судьбе за ее согласием. У Толстого мораль достаточно сильна, чтобы справиться даже с таким великаном, как Пушкин, и обходиться без всяких союзников. У Толстого мораль всегда крепнет, когда ей предстоит большое дело. Слабого, склонного к уступкам противника она сейчас же без долгих разговоров милует и освобождает от ответственности – но зато она никогда не прощает гордости и самоуверенности. Если бы приговоры Толстого

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
приводились в исполнение – давно были бы уже разрушены все памятники, поставленные Пушкину. И главным образом, за пристрастие поэта к «вечно женственному». В таких случаях Толстой неумолим. Он признает и понимает еще любовь, которая имеет своей целью основание семьи. Но не больше. Любовь Дон-Жуана кажется ему смертным грехом. Помните рассуждения Левина по поводу падших, но милых созданий и пайка? Левин затыкает глаза и уши, чтоб только не слышать рассказов Стивы Облонского. И негодует, возмущается, забывает даже обязательное для него сострадание к падшим, которых он грубо называет «тварями». С представлением о «вечно женственном» у толстого неразрывно связана мысль о соблазне, грехе, искушении, о великой опасности. А раз опасность, следовательно, прежде всего нужно остерегаться, т. е. по возможности дальше держаться. Но ведь опасность – это дракон, который приставлен ко всему, что бывает важным, значительного, заманчивого на земле. И ведь затем – как человек ни оберегайся, рано или поздно судьбы ему не миновать: придется столкнуться с драконом. Это ведь аксиома. Пушкин и Лермонтов любили опасность и потому смело подходили к женщинам. Они дорогой ценой заплатили за свою смелость – зато жили легко и свободно. Ведь, в сущности, если бы они захотели заглянуть в книгу судеб – они могли бы предотвратить печальную развязку. Но они предпочитали без проверки полагаться на свою счастливую звезду. В нашей литературе Толстой первый (о Гоголе здесь не может быть речи) начал бояться жизни и не доверять ей. И первый начал открыто морализировать. Поскольку того требовало общественное мнение и личная гордость – он шел навстречу опасности, но ни на шаг дальше. Оттого-то он и избегал женщин, искусства и философии. Любовь *an sich*, [47] т. е. не приводящая к семье, как и мудрость *an sich*, т. е. размышления, не обусловленные практическими целями, или искусство ради искусства представлялись ему величайшими соблазнами, неминуемо губящими человеческую душу. Когда он заходил слишком далеко в своих размышлениях – его охватывал панический ужас. «Мне начинало казаться, что я схожу с ума, и я уехал на кумыс к башкирам». Такие и подобные признания вы встречаете очень часто в его сочинениях. И ведь иначе с соблазнами бороться нельзя: нужно сразу, резко оборвать себя – иначе будет поздно. Толстой сохранил себя только благодаря врожденному инстинкту, всегда своевременно подсказывавшему ему верный выход из трудного положения. Если бы не эта сдерживающая способность, он, вероятно, плохо кончил бы, как Пушкин или Лермонтов. Правда, могло случиться, что он выведал бы у природы и рассказал бы людям несколько важных тайн – вместо того, чтобы проповедовать воздержание, смирение и простоту. Но это «счастье» выпало на долю Достоевского. Достоевский, как известно, тоже имел очень сложные и запутанные дела с моралью. Он был слишком исковеркан болезнью и обстоятельствами для того, чтобы правила морали могли пойти ему на пользу. Душевная, как и телесная гигиена, годится только для здоровых людей – больным же, кроме вреда, она ничего не приносит. Чем больше путался Достоевский с высокими учениями о нравственности, тем безысходнее он запутывался. Он хотел уважать в женщине человека и только человека и доуважался до того, что не мог видеть равнодушно ни одной женщины, как бы безобразна она ни была. Федор Карамазов и его история с Лизаветой Смердящей – в чьей еще фантазии могли родиться такие образы? Достоевский, конечно, бранит Федора, и это, по обычаю, существующим в нашей критической литературе, считалось достаточным, чтоб снять с него всякие подозрения. Но есть и иной суд. Если писатель докладывает вам, что нет такой отвратительной мовешки, которая своим безобразием могла бы заставить вас позабыть, что она женщина, и если для иллюстрации этой оригинальной идеи рассказывается история Федора Карамазова с безобразной идиоткой, полуживотным Лизаветой Смердящей – то пред лицом такого «творчества» сохранить привычную доверчивость по меньшей мере неуместно. Иное дело оценка идей и вкусов Достоевского. Я отнюдь не берусь утверждать, что мы, склонные разделять точку зрения Пушкина и Лермонтова и умеющие разглядеть *das ewig weibliche* только в интересных, красивых и молодых женщинах, имеем какие бы то ни было преимущества пред Достоевским. Нам, разумеется, не возбраняется жить по своим вкусам и даже бранить, как Толстой, некоторых женщин тварями. Но утверждать, что мы выше, лучше Достоевского – кто дал нам это право? Если судить «объективно», то все данные за то, что Достоевский был «лучше» – по крайней мере, видел больше, дальше. Он умел там найти своеобразный интерес, разглядеть *das ewig weibliche*, где мы ничего не видели, где даже сам Гете отвернулся бы. Елизавета Смердящая не тварь, как сказал бы Левин, а женщина, которая способна хоть на мгновение возбудить чувство любви в человеке. А мы думали, что она ничтожество, хуже, чем ничтожество, ибо возбуждает отвращение. Достоевский сделал открытие, а мы со своими тонкими чувствами опростоволосились?! Его изуродованное, ненормальное чувство обнаружило великую чуткость, которой не научила нас наша высокая мораль... И путь к

великой истине на этот раз, как и всегда, ведет через безобразия? Идеалисты не согласятся с этим. Они справедливо опасаются, что до истины не доберешься и завязнешь в грязи. Идеалисты расчетливые люди и вовсе не так глупы, как можно думать, если принимать в соображение только их идеи.

8

Новые мысли, даже собственные, не скоро завоевывают наши симпатии. Нужно сперва привыкнуть к ним.

9

Точка зрения. Каждый писатель, мыслитель – даже, пожалуй, каждый образованный человек считает необходимым иметь одну постоянную точку зрения. Взберется на какую-нибудь вышку и оттуда не спускается уже до самой смерти. Что увидит со своей точки – то считает действительностью, истиной, правдой, добром, чего не увидит, того не признает. Очень винить за это человека нельзя. Оно и в самом деле небольшая радость таскаться по точкам зрения и каждый раз переключиваться с одной вершины на другую. Ведь крыльев у нас нет, и выражение «крылатая мысль» только красивая метафора, если, разумеется, не иметь ввиду логического мышления. Тут, действительно, наблюдается необыкновенная легкость – но ведь она покупается ценой совершенной наивности, чтоб не сказать невежества. Тот, кому нужно в самом деле что-нибудь знать, а не только иметь «мировоззрение», тот на логику не рассчитывает и не увлекается соблазнами мысли. Тому всю жизнь свою приходится перебираться с вершины на вершину, а когда нужно, зимовать и в долинах. Ибо широкий горизонт приводит к иллюзиям, и для полного ознакомления с предметом нужно подойти к нему поближе, прикоснуться, ощупать его, осмотреть его сверху, снизу, со всех сторон. И если нельзя иначе, то приходится поступиться даже привычным положением собственного тела: изогнуться, прилечь, стать даже на голову, словом, принимать самые неестественные позы. Может ли тут быть речь о точке зрения, о постоянном наблюдательном пункте? Чем больше гибкости и подвижности у человека, чем меньше он дорожит естественным равновесием тела, чем чаще меняет он пост свой – тем больше увидит и узнает он. И наоборот: если он вообразил, что с той или иной вершины удобнее всего обозревать мир и жизнь – махните на него рукой: он никогда ничего не будет знать. Я бы даже сказал: он ничего не хочет знать и хлопчет об удобствах для себя, а не о выгодах своего дела. Он наверное добьется славы и успеха, и таким образом блестяще оправдает свою «точку зрения».

10

Слава.– С мира по нитке – голому рубаха. Нет такого бедняка, у которого бы не было лишней нитки и который пожалел бы ее отдать не то что голому, но и одетому – вообще первому встречному. Нужно думать, что бедняки, которым всегда хочется забыть о своем убожестве и разгуляться вовсю, особенно охотно несут по первому зову свои нитки. И скорей отдают их богатым, чем своему же брату, голяку: благодетельствовать богача – ведь для этого самому нужно быть богатым. Вот почему в мире так легко создается слава. Честолюбивый человек требует от толпы выражения удивления и благоговения, и она редко кому в этом отказывает. Глотки свои, не покупные, ладони крепкие – почему же не покричать и не похлопать, особенно если от твоих криков кружится голова и не у такого же голяка, последнего человека, а у будущего героя, Бог знает как высоко поставленного над всеми. Прибитый и приниженный обыватель, до сих пор за крики свои попадавший в участок, вдруг чувствует, что его глотка приобрела цену, что ею дорожат. Никто даже из равных ему никогда не придавал значения его суждениям, да ведь они, в сущности, ничего и не стоят, а теперь из-за них готовы ссориться чуть ли не семь городов, как из-за права называться родиной Гомера. И обыватель тешится, кричит во всю глотку, даже готов на посильные материальные жертвы. А герой доволен: чем больше шуму, тем больше верит он в себя, в свое провиденциальное назначение – во что только ни верят герои, очень скоро забывающие из каких элементов составились их слава и богатство! Герои ведь обыкновенно убеждены, что они выступили на свое поприще не затем, чтоб попрошайничать у нищих, а чтоб благодетельствовать человечество. Если б они умели вспомнить, с каким бьющимся сердцем ждали они первого хлопка, первого подаяния, как робко заискивали они у оборванных, голодных и холодных бедняков – может быть, у них не хватило бы дерзости так громко говорить о своих заслугах. Но память наша хорошо знает Спенсера и закон приспособления, и этим объясняется существование многих людей, искренне верующих в свою

11

В защиту справедливости. – Неопытные и непроницательные наблюдатели видят в справедливости бремя, которое некоторые избранные люди добровольно возлагают на себя из «уважения к закону» или по иным возвышенным и необъяснимым соображениям. Но на самом деле справедливый человек имеет не только обязанности – но и права. Правда, иной раз, в тех случаях, когда закон против него, ему приходится кой-чем и поступиться. Но зато как часто закон его поддерживает! Он может быть как угодно жестоким, лишь бы не нарушить правила. Больше того – он свою жестокость поставит себе в заслугу, ибо он действует не так, как другие люди, по личным соображениям, а во имя святой справедливости. И вообще, что бы он ни делал, раз есть санкция, он видит в своих поступках заслуги, заслуги и заслуги. Скромность мешает ему много говорить о себе, – но, в сущности, если б он захотел быть откровенным, какой бы пышный панегирик мог бы он прочесть себе! И он, вспоминая о своих делах, постоянно хвалит себя, только не вслух, а про себя. Самое понятие о добродетели этого требует: человек должен радоваться своей нравственности и вспоминать о ней как можно чаще. И после этого утверждают, что быть справедливым – очень тяжело! Я не скажу этого о других добродетелях, но справедливость, наверное, может быть объяснена не только общественно-утилитарными соображениями, всегда сбивающимися на «идейные» объяснения, но даже просто своекорыстными побуждениями. Положительно стоит иной раз поступиться даже значительными интересами, чтоб потом всю жизнь гордо и уверенно пользоваться остальными, освященными моралью и общественным мнением правами. Посмотрите на немца, который внес свою лепту в общество подаяния помощи бедным! Он больше ни гроша не даст нищему – хоть умри тот с голоду на его глазах – и чувствует себя правым. Это – символ справедливости: уплатить умеренную пошлину за право всегда пользоваться санкцией высшего начала. Оттого справедливость в ходу у культурных, расчетливых народов. Русские до этого еще не дошли. Они боятся обязанностей, возлагаемых на человека справедливостью, не догадываясь, какие огромные права и преимущества дает она. У русского – вечные дела с совестью, которые ему обходятся во много раз дороже, чем самому нравственному немцу или даже англичанину его справедливость.

12

Вернейшее средство освободиться от надоевших истин – это перестать платить им обычную дань уважения и благоговения и начать обращаться с ними запросто, даже с оттенком фамильярности и презрения. Взять, как это делал Достоевский, в кавычки такие слова, как добро, прогресс, самопожертвование, идея и т. д. – одним этим уже большего добьешься, чем рядом самых блестящих и ученых доказательств. Пока вы оспариваете права какой-нибудь истины – вы все еще верите в нее, и это чувствует каждый, даже не очень восприимчивый человек. Но вы не удостаиваете ее даже спора и только изредка бросаете по ее адресу небрежное или насмешливое замечание – это дело иное. Очевидно, вы перестали ее бояться и уважать: тут есть над чем задуматься.

13

четыре стены. Кабинетная философия осуждается – и совершенно справедливо. Кабинетный мыслитель обыкновенно занимается тем, что придумывает себе мнения решительно обо всем, что происходит в мире. Его интересуют «вопросы» о положении мирового рынка и о существовании мировой души, о беспроволочном телеграфе и о загробной жизни, о пещерном человеке и об идеальном совершенстве и т. д. без конца. Главная его задача – так подобрать свои суждения, чтоб в них не было внутреннего противоречия и чтоб они хоть с виду походили на истину. Эта работа, может быть, и не совсем лишенная интереса и тихой занимательности, все-таки, в конце концов, приводит к очень бедным результатам. Ведь похожие на истину суждения все-таки еще не истины; обыкновенно, они даже с истиной не имеют ничего общего. Затем, человек, берущийся обо всем говорить, вероятнее всего, ничего не знает. Так лебедь умеет и летать, и ходить, и плавать – но плохо летает, плохо ходит и плохо плавает. Кабинетный ученый, ограниченный четырьмя стенами своей комнаты, ничего, кроме этих стен, не видит, но именно о стенах не хочет говорить: он им не придает значения, он их не чувствует. А между тем, если бы он их случайно почувствовал и заговорил об них, его речи приобрели бы неожиданный и огромный интерес. Это иногда и бывает, когда кабинет превращается в тюрьму. Те же четыре стены, но не думать о них нельзя. О чем

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
бы человек ни вспомнил, – о Гомере, о греко-персидских войнах, о будущем вечном мире, о прошлом геологическом перевороте – все будет ассоциироваться у него с четырьмя стенами. Ровность и однообразие кабинетного настроения сменяются у него великим пафосом невольного заключения. По-прежнему человек не видит мира и не сталкивается с ним, но он не дремлет, как прежде, и не грезятся ему серенькие мировоззрения – он бодрствует и живет всеми силами своей души. К такой философии стоит прислушаться. Но люди не отличаются наблюдательностью. Если они видят одиночество и четыре стены, они говорят: кабинет. По их мнению, жизнь возможна только на рынке, где много шума и осязаемого, наружного движения. Разве это так? На рынке, среди пестрой, изменчивой толпы часто люди всю свою жизнь спят сном праведников, а величайшая душевная работа происходит в абсолютном уединении.

14

Спартанцы напавали илотов в назидание и поучение благородным юношам: тот, кто однажды видел, как безобразен пьяный человек, никогда не соблазнится вином. Прием хороший – спорить нельзя. Но что делать нам, людям XX столетия? Рабов нет, кого напавать? Мы обзавелись для этой цели художественной литературой. В романах, повестях, рассказах изображаются пьяные, развратные, вообще сошедшие со стези добродетели люди и изображаются в таком непривлекательном, безобразном виде, что у всякого читателя пропадает охота предаваться порокам. К сожалению только, наши художники недостаточно прямолинейны или слишком добросовестны. Вместо того, чтобы подражать древним спартанцам, которые делали все, от них зависящее, чтобы представить илотов как можно более отвратительными, у нас стараются правдиво изображать порок. Реализм одолел! Подумаешь, чего стесняться? Что за беда, если порок в изображении писателя выйдет немного или много безобразнее, чем на самом деле? Неужели справедливость придумана затем, чтобы все охранять, даже зло? Ведь зло искоренять нужно и только искоренять – оно должно быть раз навсегда объявлено находящимся вне покровительства законов, даже нравственных законов. Спартанцы не считали нужным церемониться с живыми илотами, а наши романисты боятся оказаться недобросовестными по отношению к воображаемым пьяным илотам! Из гуманности, будто бы... Сколько нужно наивности, чтобы поверить такому объяснению. А между тем, все ему верили – только один гр. Толстой, и то лишь под старость, догадался, что гуманность здесь только предлог и что у нас изображают порок (не в бульварных романах, а в классических произведениях) вовсе не с тем, чтобы пугать читателей. В современных учителях слово «порок» возбуждает не чувство отвращения, а любопытство, любознательность. Может быть, его напрасно гнали, как напрасно гнали многое хорошее на земле?! Может быть, к нему нужно присмотреться, может быть, у него нужно поучиться?!. Может быть... мало ли что может быть?! На основании таких «может быть» мораль понемногу совсем забросили, и гр. Толстой остался почти одиноким со своим негодованием. В литературе царствует реализм, и пьяный илот вызывает зависть в робких читателях, не знающих, чему довериться: традиционным ли правилам или призыву учителей слова. Пьяный илот, как идеал! До чего мы дожили! Не лучше ли было оставаться при старых законах Ликурга? Не слишком ли дорого мы заплатили за наш прогресс?

Многие находят, что слишком дорого. Я уже не говорю о гр. Толстом, суждения которого, благодаря тем крайностям, в которые он впал, уже почти никем не принимаются серьезно – хоть его и продолжают называть великим человеком. Великому человеку тоже не все позволено, и если он сам сбрасывает с себя путы, то общественное мнение имеет достаточно способов обуздать его, даже не прибегая к насилию. Кто скажет «шуйца», кто вспомнит о нигилизме, а кто даже об анархизме заговорит. Несколько таких слов, и готова стена, которую не разрушишь и иерихонскими трубами. С суждениями Толстого никто не считался – это факт, для меня давно уже не подлежащий сомнению. Любой посредственный «журналист» пользуется большим влиянием, чем великий писатель земли русской. Да оно так и должно быть. Гр. Толстой в настоящее время думает о вещах, до которых никому из людей нет никакого дела. Он давно уже ушел из нашего мира – а есть ли где-нибудь иной мир и продолжает ли гр. Толстой еще существовать, – кто ответит на эти трудные вопросы? «Толстой пишет книги и письма – стало быть, он существует», – это заключение, казавшееся когда-то столь убедительным, едва ли теперь на кого-нибудь действует. Особенно если принять во внимание, что пишет гр. Толстой. В некоторых из своих последних писем он высказывает суждения, решительно не имеющие никакого смысла с точки зрения обыкновенного человека. К сожалению, у меня их нет под рукой: они большей частью печатаются в заграничных изданиях. Но общее впечатление от них можно

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
вкратце резюмировать несколькими словами: Толстой исповедует солипсизм. То есть на старости лет, после бесконечных попыток любви к ближнему, он пришел к заключению, что не только нельзя любить ближнего, но что ближнего совсем и нет, что во всем мире существует всего один только гр. Толстой, что и мира-то на самом деле нет, а есть только гр. Толстой. Взгляд до такой степени очевидно нелепый, что его и опровергать не стоит. Кстати, как известно, опровергнуть его и нет никакой возможности: разве только признать необязательность логических заключений. Солипсизм преследовал гр. Толстого еще в ранней молодости, но тогда он не знал, что ему делать с навязчивой и бессмысленной идеей, и старался ее игнорировать. Теперь она ему пригодилась. Чем старше становится человек, тем более научается он утилизировать бессмысленные идеи. Еще сравнительно недавно гр. Толстой мог произнести такую фразу: «Христос только учил людей не делать глупости». Кто, кроме гр. Толстого, мог пуститься на такое рискованное толкование Евангелия? И почему все, кроме гр. Толстого, отлично понимали, что в этих словах заключается величайшая хула на Христа и его учение? Но со стороны гр. Толстого это было последней и отчаяннейшей попыткой спастись от солипсизма, не предавая при том логики: даже Христос только затем явился к людям, чтобы учить их здравому смыслу. Значит, «безумные» мысли могут быть со спокойной совестью опровергнуты, и преимущество по-прежнему остается за понятными, здравыми, умными суждениями. Очищено место добру и разуму. Добро ведь нечего объяснять – оно само собой понятно. Если бы в мире существовало только добро – не было бы никаких, ни первых, ни последних вопросов. Потому-то молодость никогда и не спрашивает. О чем ей спрашивать? Разве песня соловья, майское утро, цветок сирени, веселый смех и все прочие предикаты молодости требуют истолкования? Наоборот, всякое истолкование к ним сводится. Настоящие вопросы впервые возникают у человека при столкновении со злом. Заклевал ястреб соловья, увяли цветы, заморозил Борей смеявшегося юношу, и мы в испуге начинаем спрашивать. «Вот оно зло! Правду говорили старики! Недаром и в книгах называют нашу землю юдолью плача и печали!» А раз начинаются вопросы – нельзя, да и не нужно торопиться с ответами. И тем менее – предвосхищать их. Соловей умер и не будет больше петь, человек, его слушавший, замерз, уже не слышать ему больше песен. Положение так очевидно нелепое, что только при очевидном же желании во что бы то ни стало сбить вопрос можно стремиться к осмысленному ответу. Ответ будет, должен быть нелепым – если не хотите его, перестаньте спрашивать. Если же будете спрашивать – то приготовьтесь заранее «примириться» с чем-нибудь вроде солипсизма или современного реализма: не знаю, что лучше, это дело вкуса. Наша мысль завязла в дилемме и, в общем, не смеет сделать решительного шага. Мы смеемся над философией и избегаем, пока возможно, зла. Но почти все чувствуют невыносимую тяжесть такого положения, и каждый за свой страх старается вылезть на берег при помощи более или менее остроумной теории. Только некоторые наиболее отважные люди осмеливаются говорить правду; но их обыкновенно не понимают, не верят даже в их искренность. В тех случаях, когда в словах писателя слишком сильно чувствуется глубина пережитых им мук – осуждение, правда, не решается возвысить свой голос. Начинают говорить о трагичности положения, принимают печальные позы и произносят приличные случаю слова. Более требовательные люди, понимающие неуместность фраз и позы, но вместе с тем не умеющие заставить себя долго останавливаться над размышлениями о чужих переживаниях, делают преувеличенно суровое лицо: «Мы, дескать, глубоко чувствуем, но не хотим обнаружить глубину нашего чувства». Ничего они не чувствуют и очень хотят, чтобы другие думали, что они очень восприимчивы и только из врожденной стыдливости скрывают свои чувства под маской суровости! Иногда это приводит к любопытным курьезам даже среди писателей первого ранга. Так Анатолий Франс, изобретатель очаровательнейшей иронической улыбки, долженствующей убедить людей, что он все чувствует и все понимает, и не рыдает только потому, что мужчине неприлично рыдать даже пред лицом величайших ужасов, в одном из своих известных романов берет на себя благородную роль защитника жертв преступления против преступника. «Наше время, – говорит он, – из сожаления к преступнику забывает о страданиях, выпадающих на долю его жертвы». Это один из курьезнейших, повторяю, случаев непонимания самой сущности современных исканий. Правда, у нас часто говорят о сострадании вообще и о сострадании к преступнику в частности – и Анатолий Франс далеко не единственный человек, который думает, что наша главная отличительная черта – необыкновенная чувствительность и мягкосердечие. На самом деле, современного думающего человека влечет к преступнику не чувство сострадания, которому, бесспорно, уместнее было бы принять сторону жертвы, а любопытство, если угодно, любознательность. Целые века, тысячелетия даже человеческая мысль тщетно искала разгадки великой жизненной тайны в добре. И, как известно, ничего не нашла, кроме теодицеи и

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
теорий, отрицающих существование и возможность тайны. Теодицеи с их наивным оптимизмом давно набили всем оскомину; механические теории, доказывающие, что человеческая жизнь не обладает достаточной реальностью для того, чтобы вопрос о ее появлении и исчезновении мог иметь такое же право на существование, как вопрос о сохранении энергии и материи, кажутся на вид более убедительными – но им не хотят верить. А нежелания верить не может, как известно, выдержать ни одна теория. Словом – добро не оправдало возлагавшихся на него надежд. Разум – тоже очень мало принес. И истомившееся человечество отвернулось от своих старых идолов и возвело на трон зло и безумие. Улыбающийся Анатолий Франс спорит, доказывает – и доказывает превосходно. Но кто не знает его доказательств, и кому они нужны? Пусть улыбается, пусть торжествует в сознании своего превосходства – наше поколение уже не вернется на старый путь. Может быть, наши дети испугаются взятой нами на себя задачи, назовут нас «промотавшимися отцами» и снова обратятся к накоплению сокровищ, духовных и материальных. И опять уверуют в идеи, прогресс и тому подобные вещи. Что касается меня лично – то я в этом почти не сомневаюсь. Солиспизм и культ беспочвенности недолговечны и, главное, не преемственны. Окончательное и последнее торжество в жизни, как и в старинных комедиях, обеспечено за добром и здравым смыслом. История знала уже много эпох, подобных нашей и, как известно, превосходно справлялась с ними. За всякого рода неумеренными попытками любознания по пятам следует вырождение, сметающее с земли все слишком требовательное, утонченное и преувеличенно осведомленное. Гениальные люди обыкновенно не имеют потомства или имеют детей идиотов. Недаром природа так величественно спокойна: она хорошо припрятала свои тайны. Положим, дивиться тут нечего, если вспомнить, как неразборчива она в своих средствах. Ведь ни один деспот, ни один из величайших злодеев, когда-либо державших в своих руках земную власть, не проявлял такой жестокости и бессердечия, какие проявляет природа. Чуть что-нибудь не по ней, малейшее нарушение ее предписаний – и суровейшие кары сотнями, тысячами сыплются на голову виновного, если бы это был даже грудной младенец. Болезни, уродства, безумие, смерть – каких только ужасов и пыток не выдумала наша общая мать, чтобы держать в повиновении своих бедных детей. Правда, есть оптимисты, которые полагают, что природа не карает, а воспитывает нас. Даже и гр. Толстой однажды высказался в этом смысле: «Смерть и страдания, как пугала со всех сторон ухают на человека и загоняют на одну, открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума». Недурной способ воспитания! Совсем как с волками и медведями! Но гр. Толстой еще не досказал всего. Бывает так, что человек, удирая во все лопатки от одного ухающего чудовища, не сумеет вовремя удержаться на том пути, который мудрая природа считает единственно правильным и нужным, и с разбегу попадает прямо в лапы другого ухающего чудовища. Что тогда делать? А это часто бывает, и не в обиду оптимистам будь сказано, рано или поздно обязательно случается с каждым человеком. Бежать уже нельзя: из когтей безумия или болезни не вырвешься! Остается одно средство: вопреки традициям, теодицеям, мудрецам и – прежде всего – самому себе продолжать по-прежнему прославлять мать-природу и ее великую благодать. Пусть с ужасом отшатнутся от нас будущие поколения, пусть история заклеивает наши имена, как имена изменников общечеловеческому делу – мы все-таки будем слагать гимны уродству, разрушению, безумию, хаосу, тьме. А там – хоть трава не расти.

15

Астрология и алхимия отжили свое время и умерли естественной смертью – но оставили после себя потомство: химию, изобретающую красящие вещества, и астрономию, накапливающую формулы. Так всегда бывает: у гениальных отцов рождаются дети идиоты. В особенности, когда матери бывают очень добродетельные, а на этот раз мы имеем необыкновенно добродетельных матерей: общественную пользу и мораль. Алхимики искали философского камня – и даром тратили время, астрологи гадали по звездам – и обманывали людей своим мнимым всеведением. Им дали в спутницы жизни пользу и честность, и таким образом родились на свет химия и астрономия... Генеалогия правильная – никто спорить не будет. Может быть, никто не станет спорить, что с некоторой долей вероятности можно заключать от детей идиотов к гениальным родителям. Ведь есть кой-какие указания на это – хотя, разумеется, дальше предположений здесь идти нельзя. Но достаточно того, что возможны такого рода предположения. Тем более, что у меня в запасе есть еще доводы. Например, хотя бы то соображение, что наше время так глубоко убеждено в совершенной бессмыслице и ненужности всего того, чем занимались алхимики и астрологи. До того убеждено, что никому даже и в голову не приходит серьезно проверить свои убеждения. Нам говорят, что среди алхимиков и

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
астрологов было много шарлатанов и лжецов. Ни разве это ответ! Во всех областях есть бездарности и посредственности, спекулирующие на человеческое легковерие. На что уже положительна наша медицина – а сколько есть недобросовестных врачей, обирающих своих пациентов! Алхимики и астрологи были, по всей вероятности, самыми замечательными людьми своего времени. Скажу больше: несмотря на красящие вещества и формулы, которыми гордится современная наука, даже в XIX столетии, так прославившемся своими практическими изобретениями и открытиями, самые выдающиеся и даровитые люди все же занимались алхимией и астрологией – т. е. искали философского камня и гадали о судьбах человека. И те из них, которые обладали поэтическим дарованием, даже привлекали к себе всеобщее внимание. *Consensus sapientium* поэту издревле разрешались всякие вольности: он вправе говорить о роке, чудесах, духах, об иной жизни, словом, обо всем – только бы говорил интересно. Этого было достаточно: XIX век отдал свою дань беспокойству. Никогда еще не было такого множества трепетных и тревожных писателей, как в эпоху изобретения телефонов и телеграфов. Считалось неприличным говорить обыкновенным языком о неясных и смутных стремлениях человеческого духа – и тех, которые не соблюдали приличия, презирали и даже лечили душами, усиленным питанием и бромом. Но это все чисто внешняя сторона, которая относится к истории «мод» и нас здесь занимать не может. Существенно, что алхимия и астрология не совсем умерли, как предполагали все, а только притворились мертвыми и на время удалились со сцены. А теперь, по-видимому, им надоело затворничество, и они снова пытаются выйти на люди, отодвинув на задний план своих неудачных детей. Ну что ж? В добрый час!..

16

В нашей жизни наступает такая полоса, когда весь запас опыта оказывается уже исчерпанным. Куда бы человек ни пошел, на что бы он ни взглянул, он все встречает только давно знакомое, давно виденное. Большинство людей истолковывает это в том смысле, что они уже все знают, и что, следовательно, из того, что они пережили, можно заключить к тому, что такое жизнь вообще. Обыкновенно это бывает у людей в возрасте 35–40 лет, в ту пору, которую Карамзин считает лучшей порой жизни. Человек, не видя уже ничего нового, считает себя на этом основании вполне созревшим и решает, что он вправе обо всем судить: зная, что было, можно предвидеть, что будет. Но и Карамзин ошибался, утверждая, что в 35–40 лет наступает лучшее время жизни, и склонные к заключениям люди ошибаются, когда утверждают, что для них не может случиться ничего нового в жизни. Период застоя в душевном опыте следовало бы использовать совсем не с той целью, чтоб судить по имеющимся возможностям о всяких жизненных возможностях, а наоборот, с тем, чтобы доказывать, что как бы ни было богато и разнообразно ваше прошлое, оно и на миллионную долю не исчерпывает разнообразия действительности: из того, что было, решительно нельзя заключать о том, что будет. И, кроме того, положительно ни для чего не нужно! Разве для того, чтоб насладиться воображаемой зрелостью мысли и испытать все прелести лучшего времени жизни, так красноречиво обрисованные у Карамзина?! Соблазн не слишком уж велик! Так что если человек поставлен в необходимость приостановить дальнейшие опыты и осужден, впредь до новых событий, на размышление, то не лучше ли всего такое *interregnum*, [48] такую остановку в нашем существовании употребить на прямо противоположную цель: отыскивать в нашем прошлом указания на то, что будущее имеет все права быть, каким ему вздумается – может походить, а может ничуть не походить на прошедшее. Таких указаний, при доброй воле, можно найти гибель. Иной раз додумываешься до того, например, что естественная связь явлений, наблюдаемая нами и нашими предшественниками, нисколько не обязательна для будущего, что даже чудеса, доселе казавшиеся невозможными, окажутся когда-нибудь более возможными, понятными и даже естественными, чем опостылевшая закономерность явлений. А ведь крепко опостылела нам закономерность – признайтесь в этом и вы, люди науки! При одной мысли, что, сколько не думай, ни до чего, кроме подтверждения старой закономерности, не додумаешься, является непобедимое отвращение ко всякой умственной работе. Открыть еще закон, и еще закон – когда их и так гораздо больше, чем нужно! Ведь если берет охота думать, то единственно в предположении, что авось мысль все-таки не имеет и не должна иметь никаких пределов, что теория познания, основывающаяся, в конце концов, на истории существовавшего доселе познания и на нескольких очень сомнительных отвлеченных соображениях, есть ни к чему не обязывающая выдумка представителей определенной касты – *und die Natur zuletzt sich doch ergrunde*. [49] Какое бешеное нетерпение овладевает нами порой при мысли, что мы не знаем и никогда не узнаем великой мировой тайны! Мне кажется, нет ни одного человека в мире, который бы ни разу в жизни не испытывал безумной

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
потребности разгадать чудесную загадку. Даже те флегматические философы, которые изобрели теорию познания, потихоньку от посторонних глаз все же от времени до времени делали робкие попытки неметодологических вылазок, втайне надеясь, что таким способом можно проложить себе путь к неведомому, вопреки их собственным толстым книгам, скучно и бестолково доказывающим великие преимущества научного познания. Человек или живет, т. е. изведывает жизнь, или освобождается от заключений, навязанных ограниченным опытом. Все же прочее – от лукавого. От лукавого и те соблазны, которыми прельщался и которыми прельщал своих читателей Карамзин... Или, наоборот? Кто разрешит этот вопрос? И снова, как это часто бывает, под конец патетической речи приходишь к гадательному суждению. Пусть каждый поступает, как ему представляется наилучшим. А те, которые хотели бы, но не имеют возможности жить по Карамзину? Им я не знаю, что сказать. Шиллер рекомендовал в таких случаях надежду. Годится? Откровенно говоря, едва ли: раз потерявший покой, никогда не обретет его вновь.

17

С тех пор, как Канту удалось убедить ученых людей, что мир явлений есть нечто совсем иное, чем настоящая действительность, и что даже наше собственное существование не есть истинное существование, а только видимое проявление таинственной, неизвестной субстанции, философия застряла в новой колее и не чувствует себя в силах сдвинуться хотя бы на один миллиметр обозначенного великим кенигсбергцем пути. Можно идти вперед, можно двигаться назад, но непременно по кантовской колее. Ибо как выбраться из противоположения явлений вещам в себе? А раз это положение оказывается неизменным, значит, хочешь не хочешь, вдевай голову в хомут теории познания. Большинство современных философов так и поступает, без ропота, а то даже с радостной улыбкой, так что поневоле является подозрение, что, может быть, им ничего, кроме хомута, и не нужно было и что их «метафизическая потребность» была не чем иным, как потребностью в упряжке. Ибо, в противном случае, они должны были бы в самом начале становиться на дыбы – при одном только виде хомута. Ведь противоположение между миром явлений и вещью в себе предлагается разумом, выводимая из этого предположения теория познания предлагается разумом же, стало быть, есть все основания свободлюбивому духу с самого начала упереться – и ни с места. С дьяволом, как известно, нужно быть крайне осторожным: довольно ему схватить вас хоть за кончик ногтя, и он всего вас унесет. То же и с разумом: уступите ему хоть одно единое положение, хоть одну предпосылку – и *finita la comedia*. [50] Вы никогда от него не отвяжетесь и будете принуждены, рано или поздно, признать над собой его суверенные права. Метафизика не может существовать наряду с разумом. Все метафизическое нелепо, все разумное – позитивно. Но тут мы сразу подходим к очень трудной дилемме: метафизическое имеет своим основным предикатом нелепость, но ведь, с другой стороны, на этот почтенный предикат имеют совершенно законные и справедливые притязания очень многие позитивные утверждения. Как же тут быть? И есть ли какой-нибудь критерий для различения обыкновенной нелепости от метафизической? И можно ли прибегать в этом случае к критериям? Не явится ли сам критерий западней, в которую ловкий разум с другого конца хочет поймать вырвавшегося на свободу человека? Двух ответов на этот вопрос не может быть. За все услуги, предлагаемые разумом, рано или поздно приходится платить дорогой ценой самоотречения. Примите ли вы его помощь под громким титулом теории познания или под скромным именем критерия – в конце концов, вы неизбежно свернете на позитивный путь. С молодыми и неопытными умами это происходит сплошь и рядом. Вначале они как будто бы срываются с узды и несутся без оглядки вперед – но очень скоро они прибегают в Рим, куда, как известно, ведут все пути, или, выражаясь менее возвышенным языком, в стойло, куда тоже, как известно, ведут все пути. Единственный способ уберечься от позитивизма, конечно, при предположении, что позитивизм по тем или иным причинам не пользуется больше вашими симпатиями – это перестать бояться нелепостей, все равно, будут ли они позитивными или метафизическими, и методически отклонять все предлагаемые разумом услуги. В философии были такие примеры, и хотя от них обыкновенно предостерегают, я все-таки решаюсь их рекомендовать. *Credo – quia absurdum*: [51] это из средневековья. А из новейшей истории – Шопенгауэр и, конечно, Ницше. Оба они представляют собой благородный пример совершенного равнодушия к здравому смыслу и логике. Особенно замечателен в этом отношении Шопенгауэр, который ухитрился, оставаясь кантианцем, и даже во имя Канта, не только делать самые смелые вылазки против разума, но даже заставить разум стыдиться самого себя. Этот удивительный кантианец доходил до того, что пытался – все во имя учителя – преодолеть пространственные и временные

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
представления. Он допускал ясновидение – и ученые до сих пор находятся в затруднении по поводу того, отнести ли это допущение к области метафизических или обыкновенных нелепостей. И я, право, не знаю, как тут быть – хотя я этим не слишком заинтересован. Умный, очень умный человек настаивает на большой нелепости, и я чувствую себя вполне удовлетворенным. И вообще, весь поход Шопенгауэра против интеллекта – в высшей степени отрадное явление. Очевидно, что хоть он и исходил из кантовских идей, ему очень скоро надоело плестись по проторенной дорожке, и он, свернув в сторону, пошел блуждать вкривь и вкось, продираясь через чащу неразрешимых противоречий и нимало не помышляя о том, куда и к чему он придет. Примат воли над разумом и музыка как выражение нашей глубочайшей сущности – разве этих утверждений мало, чтобы убедиться, как ловко извернулся он из расставленных Кантом по пути мысли синтетических суждений а priori? И ведь в философии Шопенгауэра действительно гораздо больше музыки, чем логики. Недаром ее не пускают в университеты! Но за стенами университета – о Шопенгауэре можно говорить. Не об его идеях, конечно, а о его музыке. Идеи фабрикуются теперь повсюду и без него, ими завалены все европейские книжные рынки. И какие все чисто сработанные, выложенные, прилизанные, гордящиеся своей серьезностью и последовательностью идеи! У Шопенгауэра этого добра мало. Зато какие живые и великолепные противоречия, свободно и смело выставляющиеся напоказ, часто даже не подозревающие, что им нужно прятаться от бдительности полиции. Шопенгауэр плачет, смеется, радуется, сердится – и отнюдь не думает, что это возбранено философу. «Не говори – пой», – сказал Заратустра, и его завет в значительной степени уже исполнил Шопенгауэр. Философия может быть музыкой – и это вовсе не значит, что музыка должна называться философией. Когда человек окончил все свои дела, когда он уже не «мыслит» и не «работает», а предоставленный самому себе и другим людям свободно глядит и прислушивается, все принимая и ничего от себя не скрывая, он начинает «философствовать». Для чего ему тогда отвлеченные формулы? И для какой надобности прежде, чем думать, спрашивать себя: «О чем я могу думать, каковы границы моей мысли?» Он будет думать, а там, там пусть охотники подводят итоги всему, им сделанному, пусть строят теории познания. Говорить о прекрасном – самое последнее дело: нужно творить прекрасное. Никогда еще ни одна эстетическая теория не умела угадать, в каком направлении пойдет мысль художника и где лежат границы его творческой деятельности. То же и с теорией познания. Она может остановить работу ученого, который и сам боится слишком далеко забираться, но предопределить человеческую мысль ей не дано. Даже кантовское противопоставление вещей в себе миру явлений вовсе не должно роковым образом подрезать крылья человеческой пытливости. Придет время, и это незыблемое основание позитивизма пошатнется. Все гносеологические споры о том, что может и чего не может наша мысль, покажутся нашим потомкам столь даже забавными, как и средневековые схоластические препирательства. «Для чего было им спорить о том, какой должна быть истина, когда они могли искать истину?» – спросят будущие историки. Приготовим для них ответ: «Наши современники не хотят искать и потому так много разговаривают о теории познания».

18

Не верь себе, мечтатель молодой! – Как бы искренне и честно ты не стремился к истине, как бы глубоко и страстно ты не молился, какие бы мучительные страдания и нечеловеческие ужасы ты не имел бы в своем прошлом – не верь себе, молодой мечтатель! Того, что ты искал – ты не найдешь. В лучшем случае, если у тебя есть литературное дарование, ты напишешь хорошую, интересную, оригинальную книгу. И может быть – хоть это и звучит обидно – даже будешь доволен таким результатом! В письмах Ницше, относящихся к 1888 году, к тому году, когда его впервые «открыл» Георг Брандес, ты найдешь подтверждение печальному предсказанию. Ницше ли не боролся, не искал, Ницше ли не страдал, и вот, под конец жизни, когда, казалось бы, все мирские блага должны были бы представляться ему ничтожными и призрачными, он, совсем как юноша, жадно набрасывается на вести о первой славе и восторженно делится своей радостью со всеми близкими и далекими друзьями, Он не устает в десятках писем на разные лады пересказывать историю о том, как начал читать свои лекции Брандес, как в аудитории собиралось более 300 человек и даже приводит на датском языке текст объявлений Брандеса. Улыбнулась слава – и забыты все ужасные опыты прежних дней. Забыты одиночество, оставленность, пещера в горах, человек, которому вползла в рот змея – и все помыслы устремились к обыкновенному, понятному, доступному благу. Таков удел смертного:

Mit gier'ger Hand nach Schätzen grabt,

В молодости человек пишет потому, что ему кажется, будто он нашел новую и чрезвычайно важную истину, которую необходимо возможно скорей возвестить бедному, невежественному человечеству. Потом он становится опытнее и скромней и начинает сомневаться в своих истинах: тогда он пишет, чтобы проверить себя. Проходит еще несколько лет: он уже знает, что кругом ошибался и что нечего даже проверять себя. Но писать он все-таки продолжает, ибо неспособен больше ни на какое дело, а прослыть ненужным, «лишним» человеком страшно.

20

Очень оригинальный человек часто бывает банальным писателем и наоборот. Иногда в писаниях мы не столько стремимся рассказать, что с нами происходит, сколько выразить свои *ria desideria*. [53] и потому беспокойные, не знающие сна люди могут воспевать покой и отдых, которые уже давно воспеты и всем надоели, а те, которые спят по десяти часов в сутки и все делают вовремя – не прочь помечтать о приключениях, бурях и опасностях и даже превозносить все проблематическое.

21

Когда читаешь книги давно умерших писателей, всегда овладевает странное чувство: эти люди, двести, триста, две тысячи лет тому назад жившие, так далеки теперь – где бы они ни были – от того, что писали когда-то, на земле: а мы в их сочинениях ищем вечных истин!

22

Та истина, которую я сегодня имел право торжественно провозгласить и даже провозгласил первым из людей, завтра, может быть, в моих устах будет скучной и ненужной ложью. Я лишусь права называть эту истину своей – и только, может быть, я один: другие будут по-прежнему жить с ней, любить и хвалить ее.

23

Писатель, не умеющий вдохновенно лгать – лгать нужно только вдохновенно, и это большое, далеко не всем дающееся искусство, – любит бравадничать своей откровенностью и честностью. Ему ничего другого не остается.

24

Источник оригинальности: человек, потерявший надежду искоренить в себе какой-нибудь недостаток или хотя бы скрыть его от себя и других, пытается найти в этом недостатке свое достоинство. Если ему удастся в этом убедить окружающих, он достигает двойной цели: освобождается от угрызений совести и становится оригинальным.

25

Люди часто начинают стремиться к великим целям, когда чувствуют, что им не по силам маленькие задачи. И не всегда безрезультатно...

26

Отрывок прерывает самые возвышенные человеческие размышления. Отсюда, если угодно, можно сделать вывод – но, если угодно, можно никаких выводов и не делать.

27

Убежденная женщина. – Мужчине мы, хотя и не совсем охотно, прощаем его «убеждения». Конечно, странно видеть человека, верующего в свою непогрешимость, но с необходимостью приходится мириться. Смешно и некрасиво иметь мозоли на руках – а все-таки, раз мы живем не в раю, а на земле, где приходится в поте лица добывать хлеб свой, без мозолей не обойдешься. Но зачем видеть в мозолях идеал? В практической жизни, в особенности в жизни общественно-политической, на которую в большей или меньшей степени обречен

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
почти каждый современный мужчина, убеждение – необходимейшая вещь. Единение дает силу, а единение возможно только между людьми, одинаково думающими. И потом, глубокое убеждение само по себе – огромная сила, с успехом заменяющая и даже во многом превосходящая самую последовательную аргументацию. Иногда стоит только здоровым, грудным, дрожащим голосом, какой бывает у убежденных людей, гаркнуть какую-нибудь короткую фразу, и многочисленная аудитория до того сомневавшихся слушателей покорена. Так уж истари ведется, что все думают, будто бы истина умеет громко и сильно кричать. На самом деле истина очень часто бессловесна, особенно новая истина, больше всего боящаяся людей и обладающая почти всегда слабым, даже хриплым голосом. Но в данном случае важно не то, что бывает на самом деле, а то, что влияет на толпу. Для общественного деятеля убеждения прямо необходимая вещь, и тот, кто слишком умен для того, чтобы верить в себя и недостаточно актер для того, чтобы с нужной ловкостью притвориться верующим, лучше всего сделает, если совсем откажется от общественной деятельности. Вместе с тем он поймет, что отсутствие убеждений не всегда полезно и сумеет снисходительно отнестись к тем, кто в силу жизненных условий таковыми обзавелся. Но тем более нетерпеливо он будет относиться к людям, которые без всякой надобности уродуют себя этой грубой татуировкой. И в особенности к женщинам. Что, в самом деле, может быть невыносимей убежденной женщины? Она живет в семье, без тяжелого, повседневного труда – зачем ей уродовать себя? Зачем искусственно натирать мозоли, когда можно иметь красивые, чистые руки? Обыкновенно женщины не имеют охоты выдумывать для себя собственные убеждения и берут их готовыми, где придется, большей частью у заинтересовавшего их мужчины. И то только в тех случаях, если им начинает казаться, что он сам недостаточно силен, чтоб проложить путь своим идеям. Они боятся за него и пускаются на последнее средство: пробуют, не помогут ли их слабые кулачки любимому человеку. Это, правда, трогательно, но все-таки смешно и под конец крепко надоедает. Потому гораздо приятнее встречаться с женщинами, которые верят в своих мужей, не считают необходимым помогать им и обходятся без убеждений.

28

Эмансипация женщины. – Единственное, по крайней мере, наиболее верное средство победить сильного врага – это научиться владеть его оружием. Исходя из этого, современная женщина, которой надоело быть в рабстве у мужчины, старается перенять у нас как можно больше. Тяжелая вещь рабство, и великая вещь свобода! В конце концов, рабство становится до того невыносимым, что человек готов всем пожертвовать, лишь бы вырваться на волю. К чему узнику, томящемуся в тюрьме, его добродетели? У него одна цель, одно желание – освободиться, уйти из тюрьмы и, соответственно этому, он начинает ценить в себе только те свойства, которые могут помочь ему в осуществлении заветной мечты. Если для того, чтоб сломать железную решетку нужна только большая физическая сила, узник понемногу приучится считать высшей добродетелью здоровые мускулы. Если ему может помочь хитрость – ему покажется, что ценней всего в мире – хитрость. То же приблизительно происходит и с нашей женщиной. Она utbildилась, что мужчине дает перевес преимущественно его образование и вышколенный ум – и она набросилась на университеты и книги. В ее глазах учение, обещающее ей свободу – свет, а все прочее – тьма. Это заблуждение, конечно, – но, если бы вы попробовали разубедить ее в этом, вы только даром потратили бы слова: она не поверит, ни за что не поверит вам, что то, с чем связаны ее лучшие надежды, само по себе может быть дурным или даже хотя бы не очень хорошим. Так что, по-видимому, рано или поздно женщины будут не менее образованы, чем мужчины, и обзаведутся твердыми, широкими взглядами, убеждениями на всю жизнь, мирозерцаниями – даже, пожалуй, научатся строго логически мыслить. Тогда, вероятно, прекратятся многие недоразумения, столь обычные между представителями противоположных полов. Но, Боже, как скучно станет тогда на земле! Мужчины будут доказывать, женщины будут доказывать, даже дети, верно, станут рождаться всезнающими и всепонимающими. И с какой тоской мужчины грядущих веков будут вспоминать о наших женщинах, капризных, взбалмошных, несведущих, мало понимавших и не хотевших понимать. Целая половина человеческого рода не хотела и не умела понимать! В этом была надежда: может быть, и в самом деле можно обойтись без понимания? Может быть, логический ум не добродетель, а порок. Но в борьбе за существование, в силу закона о выживании наиболее приспособленных, погибло уже немало лучших человеческих свойств – видно, суждено погибнуть и женской нелогичности. А жаль, страшно жаль!

29

Все роды литературы хороши, кроме одного, скучного, – сказал Вольтер. Можно несколько расширить его мысль и сказать: все виды деятельности, все люди хороши, кроме скучных. Какие бы у вас ни были недостатки и пороки, вам все простят, если вы сумеете быть занимательным и интересным. Поэтому откровенность и естественность справедливо признаются сомнительными добродетелями. Во всяком случае, если говорят, что естественность и откровенность – добродетели, это всегда нужно понимать *cum grano salis*. [54] Т. е. иногда позволительно и даже уместно выпалить какую угодно истину, иной раз можно свободно развалиться, как бревно среди дороги, – но избави вас Бог возводить такого рода искренность в принцип. Всегда «правду матку резать», всегда обнажать всего себя, – помимо того, что это, в сущности, невыполнимо и никем никогда не выполнялось, даже в знаменитых исповедях знаменитых людей – гораздо более опасное и ответственное дело, чем это принято думать. Я с уверенностью утверждаю, что если бы нашелся человек, который бы захотел и сумел рассказать о себе всю правду, и рассказать не метафорически, как это делают литераторы (всякая метафора есть прикраса), а просто, обыкновенным, человеческим, голым языком – он бы навсегда погубил себя, ибо потерял бы всякий интерес в глазах ближних, да и в собственных глазах. Каждый из нас носит в глубине души своей тяжелую и неизлечимую рану – и знает о ней, но держится, обязан держаться так, как будто бы он ничего о ней не знает, и все делают вид, что верят ему. Вспомните Лермонтова:

Взгляни: вокруг тебя, играючи, идет
Толпа дорогою обычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.
А между тем, из них едва ли есть один,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты.

К сожалению, в этих словах слишком много ужасной правды – и правду эту необходимо скрывать. Слезы, признанья – неприличны. Ибо действительно страшное всех отпугивает. Правда, им сплошь и рядом и манят – как, например, делали Байрон и Лермонтов. Но необходимым условием заманчивости страшного является его неясность и отдаленность. Издалека всякое чудовище кажется прекрасным. И только тот, кто умеет держать себя на некотором расстоянии от людей, может быть интересным. Женщины это не всегда понимают. Если им понравился человек, они стараются вплотную, как можно ближе подойти к нему и обыкновенно удивляются, отчего это мужчины не отвечают им на откровенность откровенностью, отчего их не допускают в святая святых. Но там, в этом святилище только и есть прекрасного, что его недоступность. Обыкновенно, это не святилище, а логово, куда израненный зверь-человек прибегаетлизывать свои раны. И разве это нужно делать на людях? Людям вообще и женщинам в особенности всегда нужно давать что-нибудь положительное. В литературе еще можно воспевать отчаяние, безнадежность, неизлечимые раны – все, что угодно; ибо это все-таки литература, т. е. условность. Но обнаружить в жизни свою безысходную тоску, признаться в неизлечимой болезни и тому подобных вещах – значит добить себя, а не облегчить. Все, даже лучшие люди отшатнутся от вас и разве только в целях порядка и благочиния поместят вас в каком-нибудь не слишком заметном и потому не очень дорогом месте своего мировоззрения. В мировоззрении, как известно, как на кладбище, для всех припасены места, там все люди – гости дорогие. Там и лишние люди находят свой приют. Там есть особо огороженные площадки, куда сваливается и где догнивает всякого рода хлам. Но тем, кто еще не имеет охоты попасть в мировоззрение, мой совет держать язык за зубами или, как Достоевский, Ницше и им подобные, заниматься литературой. Писателю в книгах (и только в книгах) все позволено – был бы только у него талант. В жизни же и писателю нельзя слишком распускаться, чтоб не догадались, что в своих книгах он рассказывает о себе правду.

30

Пушкин утверждает, что поэт должен и может быть сам судьей своего произведения. «Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен – так пускай толпа его бранит...» Спорить против этого едва ли возможно, да и не нужно. Ибо как можно «доказать», что верховный суд принадлежит не самому поэту, а общественному мнению? Или что, наоборот, утверждение Пушкина справедливо? Слова Пушкина, стало быть, нельзя принять, как общеобязательное суждение. Мы вправе согласиться с ними и не согласиться. Но как свидетельство – они уже, по-видимому, не могут быть отвергнуты.

Нравится ли это нам или не нравится, но, по-видимому, Пушкин бывал доволен своими произведениями и не нуждался в санкции читателей. Счастливый человек! И мне кажется, что счастьем своим он был обязан исключительно тому обстоятельству, что умел в своих стремлениях не переходить за известную черту. Я не думаю, что все поэты согласились бы повторить приведенный стих Пушкина. Шекспир, например. Я решительно отказываюсь себе представить, чтоб после окончания «Короля Лира» или «Гамлета» он мог сказать себе: «Я, строго всех оценивавший свой труд, доволен им». Я не думаю даже, что у него мог возникнуть вопрос о достоинствах «Гамлета» или «Короля Лира». Более того, мне кажется, что для Шекспира, писавшего «Гамлета», слово «довольный» потеряло вообще всякий смысл, что если он и употреблял его, то только лишь по привычке, как иногда по привычке мы называем имена давно умерших людей. Его собственные произведения, которыми вот уже триста лет зачитывается все образованное человечество, должны были ему казаться несовершенными, слабыми, жалкими, как плач ребенка или стоны больного. Он их отдавал в театр и, вероятнее всего, удивлялся тому, что они имели успех. Может быть, и радовался: его слезы годятся хоть на то, чтоб развлекать или поучать людей. И в этом смысле, вероятно, для него суд толпы был дороже собственного суда. Он не мог не обвинить свое детище – слава Богу, что хоть люди оправдали. Оправдали, правда, потому, что не поняли или плохо поняли, но это уже не важно. «Если обращаться с каждым по его заслугам, то кто же из нас избежит пощечины?» – спросил Гамлет. Шекспир знал, что строгий суд отверг бы его произведения: в них так много страшных вопросов и ни одного удовлетворительного ответа. Неужели этим можно быть «довольным»? «Комедией ошибок», «Двенадцатой ночью», даже «Ричардом III» можно быть довольным – но после «Гамлета» человек может успокоиться только в гробу... Если говорить все, я не вполне уверен, что сам Пушкин до конца дней своих остался верным высказанному взгляду, что даже в 1830 году, когда было написано стихотворение, о котором здесь идет речь, он сказал все, что думал. Может быть, он и чувствовал, как мало может быть доволен своими трудами поэт – но гордость мешала ему признать в своей слабости, и он пытался лишней раз утешить себя сознанием своего превосходства над толпой. Средство хорошее – что и говорить! На обиды – а Пушкину ведь пришлось вынести немало обид – нужно отвечать презрением, и горе тому человеку, который для того, чтобы презирать обидчиков, ищет действительных собственных заслуг и прислушивается к строгому суду совести! Все это излишняя и опасная скрупулезность. Если человек хочет сохранить силу и веру в себя, он должен бросить великодушные мечты. Он должен презирать людей и даже тогда, когда не может их внутренне презирать, все-таки делать вид, что никого не ставит ни в грош. И казаться всегда довольным... Пушкин был умным человеком и очень глубокой натурой.

31

Метафизики против воли. – Очень часто приходит в голову мысль, что зло, быть может, не так уже ненужно, как это принято думать. Болезни, унижения, нищета, уродство, неудачи и все прочие растения, с такой поистине тропической роскошью расцветающие на нашей планете, может быть, нужны самому же человеку. Такое соображение имеет за собою немало эмпирических наблюдений. Поэты нередко воспевали в стихах скорбь.

«Nous sommes les apprentis, la douleur est notre maitre», [55] – говорил Мюссе. Каждый может, даже не заглядывая в книги, привести на эту тему сколько угодно цитат из всевозможных авторов и сослаться не только на философов, которым в данном случае не очень-то доверяют ввиду того, что их принято считать бессердечными и холодными людьми, но и на поэтов, отличающихся мягкостью характера, даже сентиментальностью. Несомненно, можно указать много случаев, когда страдания и лишения шли на пользу человеку. Правда, и обратно, можно указать немало и таких случаев, когда, сколько ни ищи, никакой пользы от страданий и лишений не найдешь. И как раз все такие случаи, когда были глубокие, серьезные, обидные, бесконечно обидные страдания. Вот, например, чеховские мужчины и женщины – большей частью, по-видимому, списанные с природы, по крайней мере, до того напоминающие действительность, что кажутся живыми. Дядя Ваня, 50-летний старик, не своим голосом кричит на всю сцену, на весь мир: «Пропала жизнь, пропала жизнь» и бессмысленно стреляет в ничем неповинного профессора. Или герой «Скудной истории». Был спокоен и счастлив человек, 30 лет подряд занимался важным и значительным делом, и вдруг незаметно подкралась к нему страшная и отвратительная болезнь, но не убила его сразу, а только открыла пред ним свою всепоглощающую пасть. Зачем, для чего это? А чеховские девушки и женщины! Их много, и все они большей частью молоды, невинны,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
обаятельны. И всегда, на каждом шагу подстерегает их бессмысленное, грубое, безобразное горе, подрезывающее в самом начале даже скромные надежды. Они горько плачут, рыдают – но судьба их не щадит. Чем объяснить эти ужасы! Чехов молчит и не объясняет. И сам не плачет: у него уже давно нет слез – да взрослому человеку стыдно плакать. Нужно или, стиснув зубы, молчать, или – объяснять. Вот за дело объяснения и берется метафизика. Там, где обыкновенный здравый смысл останавливается, метафизика считает себя вправе сделать еще один шаг. «Мы видели, – говорит она, – много случаев, когда страдания, с первого взгляда казавшиеся нелепыми и ненужными, потом оказывались имеющими глубокий смысл. Может быть, и те, которые мы не умеем объяснить, все-таки имеют свое объяснение. „Пропала жизнь“, – говорит дядя Ваня. „Пропала жизнь“, – вторят за ним бесчисленные голоса невинно гибнущих молодых девушек – но, может быть, ничего не пропало. Самый ужас, испытываемый гибнущим, говорит за то, что гибель только кажущаяся. Что она только начало великих событий. Чем меньше успел человек испытать, чем больше у него осталось неудовлетворенных страстей и желаний, тем больше оснований думать, что его существо не может бесследно уничтожиться и, так или иначе, проявит себя во вселенной. Добровольный аскетизм и подвижничество, явления очень распространенные в мире, служат ключом к объяснению загадки. Человека никто не принуждает, он сам возлагает на себя обеты страданий и воздержания. Непонятный инстинкт – но инстинкт, т. е. нечто коренящееся в глубочайших и неведомейших тайниках нашей природы, подсказывает ему страшное для человеческого разума решение: откажись от жизни, сохрани себя. Большинство людей не слышит этого голоса или, если и слышит, не повинуется ему. И природа, не рассчитывающая на нашу чуткость, прибегает к насилию. Она показывает людям в молодости рай, будит в них безумные надежды и желания – и затем в тот момент, когда мы ждем исполнения ее обещаний, безжалостно обнажает пред нами всю призрачность наших ожиданий. Каждая почти жизнь может быть резюмирована в нескольких словах: человеку показали небо – и бросили его в грязь. Все мы аскеты – одни по воле, другие – поневоле. Здесь на земле в людях только пробуждаются мечты и надежды, исполняются же они не здесь. И тот, кто больше всех вынес лишений и страданий, проснется наиболее живым и разбуженным». Такие речи нашептывает нам метафизика. И мы прислушиваемся к ним, нередко повторяем их, опуская ослабляющие впечатление «быть может». Иногда мы им верим и выковываем себе из них философское мировоззрение. И даже утверждаем, что если бы у нас была власть, мы бы ничего, ровно ничего не изменили в этом мире... А все-таки, если бы каким-нибудь чудом эта власть попала в наши руки, с каким бы наслаждением послали бы мы к черту все возвышенные миросозерцания, метафизику и идеи и просто-напросто без дальнейших размышлений устранили бы с земли все страдания, все безобразие, все неудачи, которым мы приписываем такое огромное воспитательное значение. Надоело, ох, как надоело нам учиться! Но – ничего не поделаешь. А потому, *faute de mieux*, [56] будем по-прежнему выдумывать системы. Но условимся не сердиться на тех, которые не хотят знать наших систем. Ведь, по справедливости, они имеют полное право на это.

32

Нужно уважать старость – так говорят все, даже старики. И молодые большей частью довольно охотно исполняют это требование. Но и в уважении, и в его добровольности, нередко даже демонстративно подчеркиваемой, сквозит нечто глубоко обидное для старости. Каждый чуткий молодой человек этой вольной уступчивостью словно говорит старику: «А все-таки восходящая звезда светит ярче заходящей. У меня так много, у тебя так мало, – неужели же мне отказать тебе в такой нестоящей вещи, как уважение?» И старики, принимая обычную дань, хорошо знают, что больше им ничего не полагается. К их возрасту внимательны и почтительны, но под неперменным условием, чтоб они держали себя стариками и сторонились от жизни. Пусть попробует живой человек последовать примеру Фауста – какая поднимется тревога! Старики обыкновенно бессильны и потому принуждены, подчиняясь общественному мнению, делать вид, будто их ничего не занимает, кроме интересов справедливости, их доброго имени и т. п. очень платонических благ. Только очень немногие осмеливаются идти наперекор обычаям, и в таких случаях их считают чудовищами и вырожденками. Мы не хотим допускать старикам желать, и в конце концов жизнь устраивается так, как будто бы старикам ничего и не нужно. Это, конечно, полбеда: не только старики, но и молодые в условиях нашего существования принуждены довольствоваться очень малым, и вступаться за попранные человеческие права – здесь, по крайней мере – не место. Меня занимает лишь то обстоятельство, что наука и философия принимают невольную симуляцию за действительность. Седые волосы принято считать за верный

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
признак победы над страстями. Отсюда выводят заключение, что так как седые волосы в конце концов неизбежны, то, стало быть, последняя задача человека – победить страсти... И на этом гранитном фундаменте строятся целые философские системы. С обычаем спорить не стоит – будем по-прежнему оказывать уважение старости. Но для философских предпосылок поищем иных источников: пора открыть свободный путь страстям даже в область метафизики.

33

Достоевский – *advocatus diaboli*. – Достоевский, как и Ницше, не любил протестантства и всячески старался опорочить его в глазах людей. По обыкновению, средств не разбирал, вероятно, никогда даже не давал себе труда хорошенько ознакомиться с учением Лютера. Чутье его не обманывало – религия и мораль протестантства менее всего годится для него и ему подобных людей. Но разве это значит, что оно вообще никуда не годится, что можно на него клеветать и судить о нем, как это делал Достоевский, по этимологическому значению слова? Протестант – следовательно, он протестует, только протестует и сам не имеет никакого положительного содержания. Достаточно заглянуть в элементарный учебник истории, чтоб убедиться, как неправильно такое определение. Наоборот, в сущности, протестантство – наиболее утверждающее из всех существующих исповеданий христианства. Оно прежде всего стремится устроить человека на земле. Оно протестовало, правда, против католичества. Но оно возвысило свой голос именно против разрушительных тенденций этого последнего, во имя положительных идеалов. Католичество слишком уже надеялось на свою силу и обаяние и, главное, на непогрешимость своих догматов, в жертву которым оно безбоязненно приносило тысячи, даже миллионы человеческих жизней. Исковеркать, изуродовать отдельного человека *ad maiorem gloriam dei*[57] – в Средние века, в эпоху расцвета католичества, считалось самым обыкновенным, вполне законным делом. Рискуя показаться парадоксальным, я беру на себя смелость утверждать, что идеи затем только и придумывались, чтобы давать право уродовать людей. Средневековье питало загадочную и непонятную ненависть ко всему нормальному, самоудовлетворенному, законченному. Молодой, крепкий, красивый, спокойный духом человек возбуждал в верующем католике подозрительное и враждебное чувство. Один вид его оскорблял, опровергал религию. Его нечего и допрашивать. Если он даже ходит в церковь и никогда ни на словах, ни в мыслях не сомневался в истинности католических догматов, он все-таки еретик, которого нужно всеми доступными средствами обратить. А средства католичества известны: лишения, аскетизм, умерщвление плоти. Самый нормальный человек, если его подержать некоторое время на монашеском режиме, потеряет душевное равновесие и все те добродетели, которые обыкновенно живут в здоровом духе и здоровом теле. Католичеству только этого и нужно было. Оно добивалось от людей крайнего напряжения всего их существа. Обыкновенную, естественную любовь, находящую себе удовлетворение, а стало быть, и конец в браке и семье, католичество считало греховной. Оно воспретило не только монахам, но и священникам иметь семью – и в результате добилось развития аномальных, чудовищных страстей. Оно проповедовало бедность, – и на свет явилась неслыханная алчность, которая тем пышней разрасталась, чем больше ей приходилось скрываться. Оно требовало смирения, и из босых монахов выходили деспоты, не имевшие соперников своему властолюбию. То, что увидел в Риме Лютер, человек менее всего умевший понять смысл и значение поставившихся себе католических задач, было не случайным последствием тех или иных исторических обстоятельств, а результатом вековой работы ряда поколений, почти сознательно стремившихся придать жизни возможно более тревожный и опасный характер. Лютер, деревенский человек, немецкий монах был слишком простодушной, искренней и непосредственной натурой для того, чтобы разобратся в том, что происходило в Риме. Он думал, что существует только одна истина и что сущность католичества в том, что ему представлялось как образец добродетельной жизни. И он прямо шел к поставленной себе цели. Какое назначение может иметь монашество? Зачем отнимать у священников радости семьи? Зачем вообще лишать людей радостей? И как можно примириться с разнузданностью, царившей в столице папы? Здравый смысл нормального немца возмутился против очевидной нелепости такого положения вещей – и Лютер не умел, не хотел уже больше видеть ничего хорошего там, где был забыт здравый смысл. Безумная, неслыханная раскачка жизни, достигавшаяся путем постоянных и быстрых переходов от крайнего аскетизма и слепой веры к совершенному неверию и свободе страстей, возбудила мистический ужас в честном монахе и придала ему те огромные силы, которые нужны были для того, чтобы начать успешную борьбу со всемогущим папой и святой католической верой. Как было ему не протестовать? И кто отрицал – Лютер или Рим, дерзнувший по примеру

жреческих каст восточных народов перейти от охранения завещанного ему слова Божия к испытанию, за свой страх и за собственной ответственностью, тайн жизни?! Лютер, может быть, еще простил бы монахам, если бы ограничивались одними умствованиями. Но средневековые монахи не имели ничего общего с современными нам философами. Они не искали в книгах «мировоззрений»; логические турниры их мало забавляли. Они бросались в глубочайшие омуты жизни – они экспериментировали над собой и ближними. Они переходили от крайнего самоотречения, от совершенного умерщвления плоти к разнузданнейшим вакханалиям. Они не боялись ничего и не жалели ничего. Словом, тот Рим, против которого восстал Лютер, снова затеял строить Вавилонскую башню, на этот раз не из камней, а из человеческих душ. Лютер ужаснулся открывшегося ему зрелища и отступил, отозвав за собой чуть ли не целую половину Европы: в этом его положительная заслуга пред историей. А Достоевский нападает на лютеранство! Ему жаль было старого католичества и той захватывающей дух высоты, на которую взлетали его «духовные» дети? Достоевскому мало было здоровой морали и даваемых ей устоев?! Это все не есть «положительное», это только «протест»! Поверят мне или нет, но я снова скажу и всегда буду повторять: все-таки прав был не Вл. Соловьев, считавший Достоевского пророком, а Н. К. Михайловский, называвший его «жестоким талантом» и «кладоискателем». Достоевский искал кладов – в этом более не может быть никакого сомнения, и молодому поколению, выступающему под флагом благочестивого идеализма, приличнее было бы сторониться старого кудесника, в котором только при большой близорукости или совершенной житейской неопытности можно не разглядеть опасного человека, чем избирать его в свои духовные вожди.

34

Убеждать людей и скучно, и трудно, и, в конце концов, право, даже не нужно. Гораздо лучше было бы, если бы каждый человек имел свои собственные мнения. К сожалению, этого никак нельзя добиться! Хочешь, не хочешь, а ты все-таки должен признать закон тяготения. Кой-кому кажется, что необходимо признать происхождение человека от обезьяны... В области эмпирической, как это ни обидно, есть истины, самые настоящие общеобязательные истины, с которыми не справится никакой бунт. С какой бы радостью заявили бы мы представителю научной мысли, что огонь вовсе не жжется, что гремучие змеи вовсе не ядовиты, что можно сброситься с высокой башни на землю и не расшибиться и т. д., и т. д. – если бы он был обязан доказать нам противное. Но, к сожалению, ученый свободен от обязанности доказывать, за него доказывает природа – и как доказывает! – совершенно без помощи логики и морали. Если бы природа, как метафизики, вздумала бы принуждать нас к заключениям проповедей или силлогизмами, как вы полагаете, добилась бы она от нас чего-нибудь?! Но она куда догадливей и, главное, могущественней метафизиков. Логику и мораль она предоставила Гегелю и Спинозе, а себе в руки взяла дубину. Вот тут поди, попробуй спорить: поневоле уступишь! Самые умные из метафизиков, католические инквизиторы, подражали природе. Они редко обращались к слову и доверяли больше огню костров, чем сердечному жару. И если бы только у них было побольше силы, во всем мире нельзя было бы найти двух людей, раз но думающих о непогрешимости папы. Метафизические же идеи, мечтательно надеющиеся разумными доводами покорить мир и людей, никогда недобьются господства. Если они хотят повелевать, пусть обратятся к более действительным способам убеждения.

35

Эволюция. – В последнее время мы все чаще и чаще присутствуем при смене мировоззрений у писателей и даже у лиц, непричастных к литературе. Старики из себя выходят: им кажется положительно неприличным так быстро менять убеждения; ведь убеждения все-таки не перчатки, которые поносишь и сбросишь. Но молодые не обращают никакого внимания на негодование стариков и беспечно переходят от одного строя идей к другому. Менее решительные люди все-таки немного стесняются и не решаются поступать слишком демонстративно, так что, хотя фактически и изменяют своим прежним убеждениям, но открыто об этом не заявляют. Но есть зато и такие, которые совершенно открыто и притом так просто, как ни в чем не бывало, заявляют, что теперь они уже далеко ушли от тех убеждений, которых держались полгода или год тому назад. Кой-кто даже печатает целые книги, в которых рассказывает, как он за самое короткое время перешел от одного мировоззрения к другому и от другого к третьему. И в такого рода «эволюции» не видят ничего тревожного, полагая, что это в порядке вещей. Но это вовсе не «в порядке вещей». Готовность оставить одни убеждения ради других прежде всего знаменует совершенное

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
равнодушие ко всякого рода убеждениям. Старики недаром бьют в набат. Но нам, людям, издавна воюющим со всякого рода постоянством, отрадно видеть легкомыслие молодых. Они будут до тех пор странствовать по материализму, позитивизму, кантианству, спиритуализму, мистицизму и т. п., пока не увидят, что все теории и идеи так же мало нужны, как фижмы и кринолины, которые носили наши прабабушки. И тогда начнут жить без идей, без заранее поставленных целей, без предвидений, всецело полагаясь на случай и собственную находчивость. Нужно и это испробовать! Авось так добьемся большего... Во всяком случае, будет интересней...

36

Сила воли. – Очень опасная и сильно распространенная в наше время – да, впрочем, не только в наше, а и во все времена, болезнь, – слабость или паралич воли состоит, в сущности, не в том, что человек перестал совершенно хотеть, как это бывает с очень глубокими стариками, а в том, что он теряет способность переводить свои желания в дела. Большая, слабая воля нередко встречается у очень страстных, у безумно страстных людей, так что обычное рассуждение – «не говори – не могу, а говори – не хочу», далеко не всегда применимо. Человек часто хочет, но не может. И тогда сила страсти вместо того, чтобы направиться на созидание чего-либо вне нас, всецело уходит на внутреннюю работу. Это справедливо принято считать самым опасным последствием ослабления воли. Ибо внутренняя работа – есть разрушительная работа. Человек не только ничего не делает или, в переводе на научный что ли язык, не только не приспосабливает природу к своим нуждам, но еще уменьшает степень своей собственной приспособленности к внешним обстоятельствам. Врач, даже обыкновенный смертный, наделенный здравым смыслом, без колебаний решает, что тут имеет место патологический случай, с которым нужно бороться всеми средствами. Сам пациент того же мнения до тех пор, пока у него есть возможность спастись. Но когда лечение не приводит ни к каким результатам, врач удаляется, ссылаясь на недостаточное развитие своей науки. А пациент? Удалиться ему некуда. Говорить о неизлечимой болезни противно. И он начинает думать, думать, думать – все о таких вещах, о которых никто не думает. Его все забыли, и он понемногу обо всех и обо всем забывает и прежде всего забывает о столь распространенной истине, что только те суждения имеют цену, которые признаны общеобязательными. Не то, что он оспаривает эту истину: он ее забывает, и некому о ней ему напомнить. Ему все его суждения кажутся важными, ценными. Нельзя, конечно, выставить принцип: пусть все люди отвернутся от внешнего мира и обратятся к самим себе. Но зачем непременно выставлять принцип? Можно просто сказать: я равнодушен к судьбам внешнего мира. Я не хочу сдвигать горы, менять направления рек, переделывать карту Европы, не хочу даже зайти в мелочную лавку за папиросами. Я не хочу ничего «делать». И хочу думать, что мое безделье – самое важное, что бывает на земле, что моя «болезнь» лучше здоровья и т. д., и т. д. без конца – до чего только не додумается забытый медициной и врачами человек! Суждения его не обязательны, это ясно, как день. Но значит это также, что они не интересны? И что слабость, даже паралич воли – только болезнь?

37

Смерть и метафизика. – Даже поверхностный наблюдатель легко может подметить, что лучшее в жизни очень трудно достижимо. Некоторые психологи даже думают, что главная прелесть лучшего в его трудной достижимости. Это утверждение, по-видимому, неверно, но во всяком случае в нем есть доля истины: пути к хорошему опасны. Потому ли это происходит, что природа гораздо беднее, чем мы привыкли думать, и не может в достаточной мере напасти «благ» для алчущего и жаждущего человечества, или тут замешаны какие-нибудь высшие соображения, которые мы в своей ограниченности не умеем отгадать – но факт тот, что чем заманчивей какая-нибудь цель, тем рискованней и страшней путь к ней. Нельзя ли сделать, в виде предположения, по крайней мере, и обратного заключения, то есть, что за всякой опасностью кроется благо и что, следовательно, опасность служит показанием, а не противопоказанием, как нас учит повседневный опыт? И – заключать, так заключать – величайшая из опасностей, т. е. смерть, должна быть потому наиболее многообещающей! Тут можно и остановиться и не спекулировать на дальнейшие выводы. Я нахожу, что даже должно остановиться, чтобы не спорить с традиционной метафизикой. Как известно, метафизика всегда умела осветить отблеском вечности наше временное существование. Последуем и мы ее примеру, т. е. не будем делать попыток познания абсолюта. Нашли утешительное предположение, хотя бы в области трансцендентного – волоките его скорей на

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
землю, где трудящиеся и обремененные ждут не дождутся хоть воображаемого
облегчения своей участи. Нужно уметь все, даже смерть, использовать для
целей нашей жизни.

38

Будущее. – Умный и трезвый мальчик, привыкший доверять здравому смыслу, прочитав в книге для детского возраста описание кораблекрушения, случившегося как раз в то время, когда пассажиры ели сладкое, очень удивился, узнав, что все, даже женщины и дети, которые не могли спастись судно, бросили еду и с воплями и рыданиями метались по палубе. Зачем рыдать, зачем метаться, зачем бестолково волноваться? Матросы знают свое дело и делают все от них зависящее. Раз суждено погибнуть – все равно погибнешь, будешь ли волноваться или не будешь. Мальчику казалось, что, если бы он был на корабле, он бы не ушел от стола и ел бы сладкое до самой последней минуты. Нужно отдать справедливость его трезвому уму и безукоризненно правильному заключению. Осталось жить несколько минут – разве не лучше употребить их возможно более приятно? Логическая цепь рассуждений идеальная, хоть самого Аристотеля зови. И мальчику никак нельзя было доказать, что он тоже бросил бы сладкое, даже если бы это было его любимейшее сладкое, и вместе с остальными пассажирами стал бы бестолково и бессмысленно метаться по судну. Отсюда мораль: не гадай о будущем. Сегодня господствует в тебе здравый смысл, и сладкое является для тебя высшим законом. Но завтра ты прогонишь и здравость, и смысл, сдружишься с бестолковостью и нелепостью и, может быть, даже полюбишь горькое. Так ведь?

39

Синтетические суждения *a priori*. – Кант, как известно, нашел в математике и естественных науках синтетические суждения *a priori*. Прав был он или неправ, т. е. должны ли указанные им суждения считаться априорными или апостериорными – одно несомненно: все они принимаются людьми если не за абсолютно, то за относительно бесспорные. Иначе обстоит дело в области метафизики, как раз в той области, где скрываются наиболее важные и любопытные для нас истины. Кант принужден был признать, что тут именно кончается способность нашего разума судить *a priori*. Но так как все-таки без метафизических суждений обойтись нельзя, то он и предложил заменить их постулатами, допущениями, оптимистически предполагающими, что в области трансцендентного мы найдем все, чего нам не хватает в мире явлений. Так что, хотя настоящей, научной метафизики он и не мог изобрести, зато он выдумал ненаучную метафизику, т. е. окольным путем после долгих странствований привел своих читателей с противоположной стороны к тому же месту, откуда он обещал увести их. Ведь ненаучная метафизика существовала и до Канта, фантазий на умозрительные темы было сколько угодно и у средневековых философов. И даже все они обыкновенно подкреплялись «нравственными» доказательствами. Канту, если бы он в самом деле задался целью реформировать метафизику, нужно было бы прежде всего восстать против ее излюбленного приема добывать истину посредством «заклучений». Люди ужасно экономят и жадные существа. Им хочется побольше знать и покупать свои знания возможно дешевле. Вследствие этого они вообразили себе, что каждая, добытая ими путем опыта, т. е. затраты сил, истина дает право на получение еще нескольких новых – уже безвозмездно или, говоря философским языком, *a priori*, из разума. И они не только не стыдятся спекулировать на даровщину, но еще гордятся такой своей способностью. Вместо того, чтобы смотреть, прислушиваться, ощупывать, словом – искать, они хотят заключать! Конечно, если бы им удалось перехитрить природу и выманить у нее каким угодно путем – хитростью, наглостью, обманом – важную тайну, мы бы простили им все: победителей не судят. Но ведь из их «заклучений» ровно ничего не выходит, кроме метафизических систем, которые даже Канту, больше чем сто лет тому назад, казались пустой болтовней. Не пора ли бросить заключения и добывать истину *a posteriori*, как это делали Шекспир, Гете, Достоевский и все почти поэты, т. е., попросту говоря, каждый раз, когда придет охота узнать что-нибудь – пойти и посмотреть. И наоборот, если лень или страшно сделать новый опыт, приучить себя, как это делают позитивисты, относиться равнодушно к последним вопросам бытия. А то нравственные, онтологические и тому подобные доказательства – право, уже неприлично вспоминать о них. Да кто принимает их серьезно? Каждый новый опыт – любопытен, наши же заключения, т. е. синтетические суждения *a priori* – большей частью только широковещательная ложь, нестоящая даже того клочка бумаги, на который ее заносят.

Общие правила. – Люди обращаются к философам за общими принципами. И так как философы тоже люди и сообразуют свое производство с потребностями рынка, то они большей частью и занимаются изготовлением общих правил. Меж тем является вопрос: какой толк в общих правилах? Почти одновременное вопросом приходит и ответ: никакого. Природа повелительно требует от каждого из нас индивидуального творчества. Люди не хотят этого понять и все ждут от философии последних истин, которых не было, нет и никогда не будет. Истин столько, сколько людей на свете. Да почему бы в самом деле каждому взрослому человеку не быть творцом, не жить за свой страх и не иметь собственного опыта? Детей, подростков, даже юношей можно водить на помочах, учить. Но совершеннолетних, ищущих указки, следует всячески клеймить и порицать. В них говорит лень и трусость. Они боятся попробовать и потому вечно ходят за советами к мудрецам. Мудрецы же без колебания берут на себя ответственность за жизнь других. Они выдумывают общие правила, как будто бы им в самом деле доступны источники познания, закрытые для обыкновенных смертных. Пустое! Мудрецы не больше знают, чем глупые – у них только больше храбрости и самоуверенности. Всякий умный человек от всей души смеется над «книжными» взглядами. А ведь книги – от мудрецов. И они действительно часто бывают чрезвычайно интересны – но именно постольку, поскольку они не заключают в себе общих правил. Горе тому, кто вздумал бы строить свою жизнь по Шопенгауэру, Гегелю, Толстому, Шиллеру или Достоевскому! Их можно и даже должно читать – но жить надо своим умом. Это особенно хорошо знают те, которые делали соответствующие опыты – т. е. пробовали устраиваться сообразно той или иной вычитанной теории. Влучшем случае получалась пошлость. Значит выхода нет! Хочет человек или не хочет, рано или поздно придется ему признать непригодность всякого рода шаблонов и начать творить самому. И разве, *apres tout*, [58] это уже так ужасно? Нет общеобязательных суждений – обойдемся необщеобязательными. От этого пострадают только одни учителя...

Метафизические утешения. – Метафизики, как известно, самым беспощадным образом преследуют всякого рода эвдемонистические учения, видя в них своего рода *l'esio majestatis* [59] человеческого достоинства. Наше достоинство, говорят нам, запрещает нам ставить себе высшей целью свое личное счастье. Положим, что так. Но зачем придумывать тогда утешения, хотя бы метафизические? Зачем столь «чистому», идейному понятию, как метафизика, давать в спутники, в союзники даже столь грубое, «чувственное» (в кантовском смысле) слово, как утешение? Ей гораздо приличнее было бы побрататься с гордой безутешностью! Утешение предполагает ровность и спокойствие духа, даже тихую радость. Но ведь метафизика обязана (если только она согласна признать за собою какие бы то ни было обязательства) отталкивать от себя с презрением все земные блага и перебрасывать их материалистам и позитивистам, не умеющим подняться до чистой и безразличной созерцательности. Что метафизику до радостей и страданий? Они сами по себе – он сам по себе. И вдруг он начинает мечтать об утешении! Очевидно, здесь кроется недоразумение, и очень крупное. Чем больше вдумываешься и всматриваешься в последние цели бесконечных метафизических задач, тем более убеждаешься в их конечности. Метафизики только и хлопчут о том, чтобы добыть какое-нибудь новое благо – я чуть не сказал наслаждение. Вольтер утверждал, что если бы не было Бога, Его нужно было бы выдумать, и эти слова объясняют его крайним позитивизмом. Но позитивного здесь – только форма. Содержание же чисто метафизическое. Ибо каждый метафизик гораздо более озабочен тем, чтобы убедить себя, что Бог существует, чем самым существованием Его. Раз он уверовал, с него этого вполне достаточно, хотя бы оказался, что он ошибается. Он нашел утешение – большего он и не искал. Иначе он бы понял, что то обстоятельство, что он верит, нисколько не служит доказательством реальности объекта его веры. Он бы понял, что вовсе и не важно, верит ли он или не верит, что весь вопрос только в том, существует ли высшее сознательное начало или мы, живые люди, являемся вечными рабами и данниками мертвых законов необходимости. Но что ему до всего этого! Он, объявивший себя непримиримым врагом эвдемонизма, хочет утешения, утешения и утешения. Сомнение в его праве быть утешенным приводит его в ярость и бешенство. И он готов отстаивать свои убеждения всеми дозволенными и недозволенными способами – начиная с морального негодования и кончая даже кулаками. Само собою разумеется, что попытки вразумить такого человека – бесплодны. Раз человек не хочет Бога, а думает только о наилучшем устройстве, вы не оторвете его внимания от ближайшего момента. А меж тем

все-таки, может быть, что есть Бог и выдумывать Его не нужно ни Вольтеру, ни метафизикам. И что неверие в Бога вовсе не служит возражением, что оно именно служит доказательством Его существования – большим, чем вера. Метафизикам это соображение не приходило в голову? Жаль! Может быть, они в этом нашли бы для себя «утешение» и отказались бы от нравственной и кулачной расправы и других подобных приемов, к которым они, к сожалению, слишком часто прибегают.

42

Практический совет. – Образованным, много читающим людям нужно постоянно иметь в виду, что литература – это одно дело, а жизнь – другое. Это, однако, еще вовсе не значит, что писатели всегда лгут. Я положительно беру на себя смелость утверждать, что есть писатели, которые очень редко и неохотно лгут. Но нужно уметь читать, а этому очень нелегко научиться: на сто грамотных людей едва ли девяносто девять понимают, что они читают. Принято думать, например, что писатель, умеющий вдохновенно воспеть в своей книге страдания, всегда готов раскрыть объятия всякому, кто придет к нему с тяжелой нуждой. Это вычитывают в его сочинениях. И потом, когда убеждаются, что в жизни певец страданий бежит без оглядки от земных страдальцев, этому очень удивляются, этим даже возмущаются и начинают говорить о противоречии между словом и делом. А меж тем, весь секрет в том, что у певца и своих страданий достаточно, более чем достаточно и, так как он не может от них избавиться, то он воспекает их. «L'ucello canta nella gabbia non di gioia, ma di rabbia», [60] – говорит итальянская поговорка. Любить страдальцев, особенно безнадежных страдальцев прямо невозможно, и кто утверждает противное, тот заведомо лжет. Правда, были однажды произнесены слова: придите ко мне все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас. Но вы помните, что спросили о Нем евреи: кто он такой, что говорит, как власть имеющий? И если бы он не умел, не имел права ответить на этот вопрос, он должен был бы отказаться от своих слов. Мы же, обыкновенные люди, не имеющие ни его силы, ни его прав – мы можем любить только не потерявших надежды ближних, и всякие притязания наши, переходящие этот предел, есть пустое, не стоящее внимания хвастовство. Нельзя требовать от певца страданий ничего, кроме его песен. Скорей нужно подумать о том, чтоб облегчить его, чем о том, чтоб получить от него облегчение. Не всегда же человеку плакать и искать слез. Закончу второй итальянской поговоркой: «Non e un si triste cane, che non meni la coda»... [61]

43

Если больной человек лечится и аккуратно исполняет советы и предписания образованного и заслуживающего доверия врача, всякий скажет, что он поступает разумно. Если больной отказывается лечиться не в силу принципиального недоверия к врачам и медицине, а так, без всякой причины, по беспечности, что ли, – всякий скажет, что он поступает глупо. Если же здоровый человек решится привить себе какую-нибудь опасную болезнь, чахотку, скажем, или проказу, мы без всякого колебания объявим его сумасшедшим и даже, пожалуй, не остановимся пред насильем, чтоб помешать ему в осуществлении его явно безумного намерения. До такой степени мы убеждены, что болезнь есть зло, а здоровье – благо. Спрашивается: на чем основано наше убеждение? Обыкновенный человек, конечно, не захочет серьезно поставить такой вопрос, очевидно нелепый уже на первый взгляд. Но обыкновенный человек не согласился бы усомниться в неподвижности земли, обыкновенный человек хохочет, когда ему говорят о проблеме отношения реального мира к миру наших представлений и т. п. Мало ли что не кажется обыкновенному человеку не подлежащим обсуждению! Философ не вправе ссылаться на права обыкновенного человека. Философ обязан сомневаться, сомневаться и сомневаться и именно тогда спрашивать, когда никто не спрашивает, рискуя стать посмешищем для толпы. Если бы здравого смысла было достаточно для добывания истины, мы бы давно все знали. Так что, хочешь или не хочешь, приходится поставить вопрос: почему мы здоровье ценим выше болезни? И даже еще резче: что лучше – здоровье или болезнь? И если только мы отвергнем утилитарную точку зрения – а утилитаризму в философии не может быть места, в этом, конечно, все согласны – то сейчас же станет ясно, что у нас, по меньшей мере, нет решительно никаких оснований отдавать предпочтение здоровью пред болезнью. Мы не выдумывали ни того, ни другого; явившись на свет, мы нашли их готовыми, в том виде, в котором их изобрела природа. С какой же стати мы, так мало посвященные в ее тайные намерения, берем на себя право судить о том, что удалось ей и что не удалось? Нам приятно здоровье и неприятна болезнь – но ведь это соображение недостойно

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
философа! На то он и философ, чтоб уметь быть объективным, иначе, в чем его преимущество перед чернью? Философы выдумали автономную мораль, имеющую в своем распоряжении чистые идеи, решительно никакого отношения к эмпирическому содержанию жизни не имеющие. Нужно сделать еще один шаг. Нужно, чтоб «разум» тоже имел запас своих чистых идей на все случаи жизни. Пусть он ценит по собственному, свободному усмотрению, нисколько не сообразуясь с принятыми мнениями. И когда у него нет никаких других оснований – пусть пользуется отрицательным методом: все, что утверждает здравый смысл – ошибочно, стало быть, должно быть отвергнуто. Здравый смысл предпочитает здоровье болезни, разум уже по этому одному делает противоположное утверждение: высшее благо есть болезнь. Вот такой разум заслуживал бы названия автономного, самозаконного. Он, как истинный монарх, ничем, кроме собственной воли, не управляет. Пусть все «соображения» говорят в пользу здоровья – разум должен оставаться непреклонным и твердить свое до тех пор, пока ему не удастся приучить людей к абсолютному повиновению. Он не только болезнь должен возвести на пьедестал, он должен восхвалять страдание, безобразие, неудачу, безнадежность. Он должен воевать на каждом шагу с утилитаризмом и здравым смыслом, пока не заставит человечество безропотно платить себе полную дань. Он боится возмущения? И в последнем счете он так же, как и мораль, применяется ко вкусу толпы?

44

Опыт и наука. – Как известно, наука не признает опыта во всем его объеме и, по существу, признать его не может. Огромное количество единичных фактов выбрасывается ею за борт, как излишний и ненужный балласт. Она принимает в свое ведение только те явления, которые постоянно чередуются с известной правильностью; самый драгоценный для нее материал – это те случаи, когда явление может быть по желанию искусственно вызвано, когда возможен, стало быть, эксперимент. Она объясняет движение земли и смену времен года, ибо тут подмечается правильная последовательность, она наглядно представляет гром и молнию, добывая искру на электрической машине. Словом, поскольку наблюдается правильное чередование явлений, постольку расширяется область науки. Но как же быть с единичными, не повторяющимися и не могущими искусственно быть вызванными явлениями? Если бы все люди были слепыми и только один из них на минуту прозрел и увидел бы красоту и величие Божьего мира, наука не могла бы считаться с его показаниями. А между тем, свидетельство одного зрячего значит больше, чем показания миллиона слепых. В жизни человека возможны внезапные озарения – хотя бы на несколько секунд. Неужели о них нужно молчать только потому, что при нормальных обстоятельствах их не бывает и что их нельзя вызвать в каждую данную минуту?! Или, если говорить, то непременно в поэтической форме, чтоб дать право всякому сказать: это прекрасный вымысел, но все-таки вымысел, действительностью опровергаемый?.. Наука этого требует. Она признает истинными только такие суждения, которые могут быть проверены всяким и всегда. Не ясно ли, что этим она превышает пределы своей компетенции? Опыт гораздо шире, чем научный опыт, и единичные явления говорят нам гораздо больше, чем постоянно повторяющиеся. Наука полезна – спору нет, но истин у нее нет и никогда не будет. Она даже не может знать, что такое истина и накапливает лишь общеобязательные суждения. Между тем, по-видимому, существуют и всегда существовали ненаучные приемы отыскания истины, которые и приводили если не к самому познанию, то к его преддверию, но мы так опорочили их современными методологиями, что не смеем и думать о них серьезно. Ведь просиживали астрологи, алхимики, гадатели, кудесники в течение многих лет целые ночи напролет наедине со своими думами – кто дал нам право утверждать, что они попусту убивали время? Они не нашли философского камня?! Но, может быть, и не в камне было дело! Камень – только предлог, доступное пониманию непосвященного человека объяснение подозрительного затворничества. Если бы алхимик или древний гадатель откровенно признался ближним, что его занятия не преследуют общепользных целей, чем оправдал бы он свою праздность? Им нужно было казаться полезными или, по крайней мере, страшными, чтоб оградить себя от назойливого любопытства и контроля. И они бессознательно или сознательно лгали, то обнадеживая, то пугая людей. Но, несомненно, у них было свое, важное дело, которое имело только один недостаток – оно было их личным, а не общественным делом. А о личных делах принято молчать... И поразительно! Обыкновенно человек колеблется в своих суждениях по поводу самых незначительных вопросов. Но у каждого бывали в жизни моменты, когда неизвестно откуда к нему внезапно приходила неслыханная смелость и решительность в суждениях. Вчера еще робкий и тихий, – сегодня он готов один противопоставить свое мнение целому свету – и защищать его против всех

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
ныне живущих, против всех когда-либо живших людей. Спрашивается, откуда эта уверенность и что она значит сама по себе? Обосновать ее принятыми способами доказательств нет и не может быть никакой возможности. Если влюбленный решает, что его возлюбленная прекрасней всех женщин в мире и стоит того, чтобы отдать за нее жизнь; если обиженный утверждает, что его обидчик самый низкий человек и заслуживает пытки и казни; если самозванный Колумб убеждает себя, что грезящаяся ему Америка – единственный предмет, достойный внимания – кто скажет этим людям, что их суждения, никем, кроме них, не разделяемые, не имеют права называться истинными? Или, точнее, сказать-то им скажут – но кому они поверят? И ради кого они согласятся отречься от своего познания? Ради объективной истины? Т. е. ради удовольствия считать, что вслед за ними все люди повторяют их суждения. Но им этого не нужно. Пусть Дон Кихот с мечом в руке бежит по свету и дерется с каждым встречным, чтоб доказать красоту своей Дульсинеи или опасность, грозящую от ветряных мельниц и стада баранов. Дон Кихот, а вместе с ним и современные немецкие философы имеют неясное сознание, род предчувствия, что на самом деле они воюют не с рыцарями, а с баранами, не с великанами, а с мельницами и что их идеал, в сущности, обыкновенная девушка, которая только на то и годится, чтоб пасти свиней и, чтоб заглушить в себе роковые сомнения, они обращаются к мечу, к доказательствам, и не успокаиваются до тех пор, пока им не удастся заткнуть глотки всем людям. Когда они слышат из всех уст похвалы Дульсинеи, они говорят себе: да, она действительно прекрасна и никогда не пасла свиней. Когда все удивляются их подвигам в драке с баранами и мельницами, они торжествуют: это не бараны, значит, как могло казаться, а рыцари; не мельницы, а великаны. Это называется доказанными, общеобязательными суждениями: поддержка толпы есть необходимое условие существования современной философии и ее рыцарей печального образа. Научная философия ждет не дожидается нового Сервантеса, который бы положил конец дикому обычаю пролагать посредством доказательств путь истине. Все суждения имеют право на существование, и если уже говорить о привилегиях, то нужно отдать предпочтение тем, которые теперь наиболее всего находятся в загоне, т. е. таким, которые не могут быть проверенными и стать, в силу этого, общеобязательными. Раз человек нашел слова, чтоб выразить свое действительное отношение к миру – он имеет право говорить, и его можно слушать, хотя бы его отношение было единственным в своем роде, не встречавшимся доньше и никогда не имеющим повториться. Проверять его наблюдениями и экспериментами строжайшим образом возбраняется. Если в вас привычка «объективной проверки» настолько убивает природную восприимчивость к жизненной правде, то вы уже не полагаетесь ни на свое зрение, ни на свой слух и доверяете только показаниям независимых от вашей воли приборов – ну, тогда, конечно, вам ничего не остается делать. Держитесь убеждения, что наука есть совершенное знание и обобщайте. Но если вы сохранили живые глаза и чуткий слух – бросьте инструменты и приборы, забудьте методологию и научное донкихотство и попытайтесь довериться себе. Что за беда, что вы не добудете общеобязательных суждений и увидите в баранах баранов? Это шаг вперед, может быть. Вы разучитесь смотреть вместе со всеми, но научитесь видеть там, где еще никто не видел, и не размышлять, а заклинать, вызывать чуждыми для всех словами невиданную красоту и великие силы. Повторяю, недаром астрологи, алхимики и гадатели пренебрегали экспериментальным методом, который, к слову сказать, вовсе не есть изобретение нового времени, а существует столько лет, сколько существует на земле жизнь. И животные экспериментируют, только не сочиняют трактатов по индуктивной логике и не гордятся своим мышлением. Корова, однажды обжегшая морду в пойле, второй раз подходит осторожнее к корыту. То же самое, только систематически, производит каждый экспериментатор. Но животным часто инстинкт помогает там, где не хватает опыта. А у нас, у людей, разве достаточно опыта? И разве опыт может дать то, что нам нужнее всего? А раз так, пусть наука вместе с ремеслом служит нуждам повседневности, пусть даже философия, тоже жаждущая служить, отыскивает общеобязательные истины. Но за ремеслом, наукой и научной философией есть еще область знания. Во все времена люди, каждый за свой страх и риск, стремились к ней. Неужели мы, люди XX века, добровольно откажемся от своих суверенных прав и из боязни общественного мнения займемся исключительно добыванием полезных сведений? Или, чтоб не казаться себе обездоленными, примем вместо философского камня современную метафизику, прикрывающую свой страх пред действительностью постулатами, абсолютами и тому подобными на вид трансцендентными выражениями?

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
русского искусства, как известно – простота, правдивость и совершенное отсутствие риторических прикрас. Достоинство это или недостаток – судить не берусь, но одно мне кажется несомненным: наша простота и правдивость есть следствие нашей относительной малокультурности. В то время, когда в Европе человеческая мысль уже много столетий бьется над неразрешимыми вопросами – мы только начинаем пробовать свои силы. У нас нет еще неудач в прошлом. Отец самого глубокомысленного русского писателя был либо барин, делившим свое время между роскошными забавами и однообразной службой, либо мужиком, которому заботы о добывании насущного хлеба не оставляли ни одной минуты для праздной пытливости. Откуда нам знать, существуют ли пределы для человеческого познания? Нам кажется, что если мы не знаем, то только потому, что еще не искали как следует. Чужой опыт для нас необязателен – о нем ведь можно получить самые неопределенные и отрывочные сведения из ненадежнейшего источника, книг. Человеку свойственно верить в лучшее, впредь до доказательства противного, и всякую попытку отнять у вас веру мы встречаем обыкновенно энергичным отпором. Наиболее скептически настроенный русский человек в глубине души своей таит надежду. Отсюда наше бесстрашие в «правдивости», так ошеломившее европейскую критику. Реализм выдумали на Западе, там его обосновали, как теорию – но там же, в противовес ему, выдумали еще множество теорий, смягчающих безутешные выводы, к которым приводит реализм. Там есть *etre suprême, deus sive natura*, [62] гегелевский абсолют, кантовские постулаты, английский утилитаризм, прогресс и еще десятки, сотни философских и социологических идей, которыми так ловко окутывают даже сами крайние реалисты «правду жизни», что она совсем перестает быть правдой. Западный человек надеется на себя и только на себя. Он твердо убежден, что если не поможет себе сам, то никто ему не поможет. Соответственно этому, все помыслы его направлены к тому, чтобы как можно лучше устроить свою жизнь. Ему отмерено известное, ограниченное время: если он не успеет спеть свою песню, она так и останется недопетой. Судьба не прибавит ему ни одной минуты для неисполненных тактов. И в качестве опытного музыканта он превосходно владеет собой. У него ни одна секунда не пропадает даром, ибо он знает, что стоит хоть раз замедлить темп – и прощай навсегда, гармония! Темп это все, а условие темпа – это легкость и быстрота в движении. Артисту в течение одного короткого такта нужно дать несколько звуков и так дать, чтобы осталось впечатление, что он нисколько не торопился, что у него в распоряжении было больше времени, чем ему нужно было. Причем каждый звук должен быть законченным, отделанным, иметь свою полноту и экспрессию. Одного природного дарования для этого мало. Нужен опыт, нужны традиции и школа, нужен унаследованный инстинкт. *Capre diem* [63] – европеец уже два тысячелетия это знает, мы же до сих пор убеждены, что чего-чего, а времени у нас хоть отбавляй. Считать дни, а тем более часы и минуты – найдите хоть одного русского, который унизился бы до такого мещанского занятия! Мы осматриваемся, потягиваемся, протираем глаза, мы хотим прежде решить, что делать и как делать, и только потом начать жить. И решить не как-нибудь, не на основании отрывочных, неполных, взятых у других сведений, а собственным опытом, собственным умом. Традиций мы не признаем: ни в одной литературе не было столь вызывающей борьбы с традициями, как у нас. Мы все хотели пересмотреть, все перерешить. Нечего и говорить, что наша смелость коренится в совершенно некультурном доверии к своим силам. У нас Белинский, недоучившийся студент, человек, из третьих рук черпавший сведения о европейской философии, начинает тяжбу со вселенной по поводу давно забытых жертв Филиппа II и инквизиции. И в этой тяжбе – смысл и сущность всей русской художественной литературы. Под самый конец своей деятельности Достоевский поднимает тот же вопрос и тот же спор по поводу слезинки замученного ребенка. Русскому человеку кажется, что он все может, оттого он ничего не боится. Он рисует жизнь в самых мрачных красках – и, если вы предложите ему вопрос: как можно принять такую жизнь? как можно примириться со всеми ужасами, которыми полна действительность и которые так беспощадно обрисовывали все наши писатели, начиная с Пушкина и кончая Чеховым, он вам ответит словами Ивана Карамазова: я не принимаю этой жизни. Ответ, на первый взгляд, нелепый: не принять жизнь нельзя, раз она есть. Но под этим ответом кроется иное: еще не вполне израсходованная вера в возможность окончательной победы над «злом». В силу этого русский писатель не прячется от врага – а прямо идет к нему навстречу. Наши сектанты заживо закапываются в землю, толстовцы и иные последователи различных толков, в таком огромном разнообразии рождающихся в России, идут в народ, идут, куда только Бог пошлет, разрушая собственные и чужие жизни. Писатели не отстают от сектантов. Они тоже не хотят рассчитывать, не хотят ловить мгновения. И не из лени, как может показаться поверхностному, далекому от русской жизни наблюдателю, а из уверенности – ни на чем, если угодно, не основанной – в том, что они слишком богаты, чтобы быть обязанными считать. Минуты,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
секунды, такты – все это так ничтожно, незначительно – этого простым, невооруженным глазом не разглядишь. Мы хотим щедрой рукой зачерпнуть из бездонной вечности; все же ограниченное – удел европейского мещанства. Русские писатели, за немногими исключениями, совершенно искренне презирают мелочность Запада. И даже те, которые преклонялись пред Западом, никогда настоящим образом не понимали, не хотели понимать его. Оттого западноевропейские идеи принимали у нас всегда такой фантастический характер. Даже эпоха 60-х годов, с ее «трезвостью», была, в сущности, самой пьяной эпохой. У нас читали Дарвина и лягушек резали те люди, которые ждали Мессии, второго пришествия. У нас и сейчас продолжается то же. Мы разрешаем себе величайшую роскошь, о которой только может мечтать человек – искренность, правдивость, точно и в самом деле мы были духовными крезами, у которых тьма всякого рода богатств, которые все могут показывать, которым нечего стыдиться себя. Да и крезы, самые богатые и сильные властелины мира, не считали себя вправе всегда говорить правду: и царям приходится притворяться – вспомните дипломатические отношения; а мы, мы думаем, что можем говорить одну только правду, что всякая ложь, скрывающая нашу истинную сущность, есть преступление, ибо наша истинная сущность есть лучшее, что бывает в мире!.. Расскажите это европейцу – оно покажется ему забавнейшим анекдотом, если только он хоть что-нибудь разберет в ваших словах. Европейец все силы своего ума и таланта, все свои знания, все свое искусство направляет к тому, чтобы сделать себя и все окружающее возможно менее обнаженным, естественным, ибо естественное – в Европе об этом и не спорит никто – безобразно и страшно. Не только изящные искусства, даже наука и философия в Европе инстинктивно лгут, и этим оправдывают свое существование. Европейский ученый дает вам прежде и после всего законченную теорию, – ну, а кто не знает, что обозначает собой законченность, зачем нужно законченность? Оборвать речь, не сказавши последнего, обнадеживающего слова, не давши исчерпывающего синтеза, оставить договаривать природу – на это не пойдет никто из наших западноевропейских соседей. У них утешительный конец и разрешающее последнее слово припасены задолго до начала и первого слова. У них прикрасы и риторика – *conditio sine qua non* [64] творчества, единственное лекарство против всех зол. В философии там господствует теодицея, в науке – закономерность. Даже Кант не умел избегнуть декламации, даже у Канта последним доказательством является «нравственная потребность...» Итак, нам предстоит выбор между художественной и законченной ложью старой, культурной Европы, ложью, явившейся результатом тысячелетнего и мучительного опыта, и бесхитростной, безыскусственной простотой и правдивостью молодой, некультурной России. Они ближе к концу, мы ближе к началу. Но кто ближе к истине? И может ли быть разговор о добровольном, свободном выборе? Вероятно, нет. И, вероятно, ни старость, ни молодость равно не могут дать нам той истины, которую мы ищем. Да и существует ли последняя истина? Не есть ли самое понятие об истине, самое предположение об ее возможности лишь результатом ограниченности – нашего опыта? Мы а priori решаем, что одно должно быть возможно, а другое невозможно, и из этой произвольной предпосылки выводим понятие истинного. И каждый, соответственно своим силам и условиям своего существования, судит по-своему. Робкий и запуганный человек хлопочет о порядке, который обеспечил бы ему хоть один день спокойной жизни. Молодость мечтает о блеске и красоте. Старость не хочет ни о чем думать, ибо не умеет надеяться. И так далее без конца. И все это называется истиной, истинами. Каждый человек воображает, что то, что он видел, исчерпывает собой жизнь. А потому единственно правыми оказываются эмпирики и позитивисты: только до тех пор может быть разговор об истине, пока мы не отрываемся от реальных условий нашего существования. Стоит раз оторваться от них – и конец науке: все оказывается возможным. Наша доверчивая правдивость, как и европейская риторика, оказываются «по ту сторону» истины и лжи. Молодой Восток и старый Запад только терпят навязываемую истиной ограниченность и по возможности стараются отвязаться от нее – первый, игнорируя ее существование, второй – приспособляясь к ней. И разве, в конце концов, это не одно и то же? Разве искусная риторика не так же соблазнительна, как и правда? И то, и другое – жизнь. Невыносима только риторика, которая хочет сойти за правду и правда, которая хочет казаться культурной. Такого рода маскарад предполагает за истиной, т. е. за ограниченностью, объективное, вечное значение. А это обидно: нам хочется думать, впрямь до доказательства противного, по крайней мере, что только одно утверждение имеет и может иметь объективное значение: в мире нет ничего невозможного. И каждый раз, когда кто-либо пытается уверить нас, что есть и другие, более ограниченные истины, мы ошарашиваемся и защищаемся всеми доступными нам средствами. Даже не пренебрегаем логикой и моралью, над которыми сами так часто смеемся. Что в том удивительного? Когда защищаешь свое последнее достояние – средств не разбираешь...

Nur fur Schwindelfreie! Собственно говоря, закончить следовало бы какой-нибудь моралью. Следовало бы заявить читателю, что, несмотря на все вышесказанное или даже ввиду всего вышесказанного – в заключениях, как известно, всегда можно произвольно подменять выражение «несмотря» выражением «ввиду», особенно, если заключение делается из большого числа разбросанных данных, – так вот, ввиду вышесказанного, надежды все-таки еще не погибли. Всякое разрушение ведет к созиданию, после тяжелой работы нас ждет сладкий час отдыха и т. п., и т. п. – всех банальностей, которыми писатели «примиряют с собой» читателей, не перечтешь. Но с этим никогда не опоздаешь. А раз так, то почему бы не отложить мораль на несколько лет, даже на несколько десятков лет – если Бог даст веку. Зачем непременно сейчас, в конце каждой книги делать «вывод»? Я почти уверен в том, что рано или поздно обещаю читателю все, чего просит его душа. Он мог бы, конечно, обойтись и без моих утешений. Ну что стоит ему самому надавать себе каких угодно обещаний? Ведь исполнить их в равной степени не может ни читатель, ни писатель. Но если иначе нельзя, если писатель непременно обязан во всеуслышание признать исполнимыми тайные желания бедных людей, согласимся, по крайней мере, дать ему отсрочку – до старости, usque ad infinitum...[65] А пока, как девиз: nur fur Schwindelfreie! В Альпах есть узкие, труднопроходимые, лежащие над пропастями тропинки. Ходить по ним отваживаются только привычные, не боящиеся головокружения горцы. Кто же подвержен головокружениям – выбирает большие, торные дороги или попросту сидит в долинах и оттуда любуется снежными вершинами. Разве непременно нужно лазить? За линией вечного снега нет ни тучных пастбищ, ни золота. Говорят, что там можно найти разгадку вечной тайны – но мало ли чего не говорят! Не всякому слуху верить можно. Кому надоели долины, кто любит карабкаться, кто не боится глядеть в пропасть и – главное – у кого ничего не осталось в жизни, кроме «метафизической потребности», тот, разумеется, полезет на вершины, даже не справляясь о том, что ждет его там. Тот, не боится, тот жаждет головокружения. Но едва ли он станет звать за собой людей: не всякий годится ему в товарищи. Да в таких делах товарищи и не нужны. Особенно такие, которые привыкли к удобным путям, к маякам, к верстовым столбам, к обстоятельным картам, вперед постоянно предсказывающим малейшие извилины предстоящего пути. Они не только не помогут, они затормозят дело. Они окажутся излишним и тяжелым живым балластом, который к тому же и за борт выбросить нельзя. Носись с ними, утешай их, обещай им! Не лучше ли без них в одиночку идти своим путем? И не только не манить их за собой, но, по возможности, отпугивать, преувеличивая опасности и трудности предприятия? Чтoб совесть их слишком не грызла – кто любит большие дороги, тот любит и спокойную совесть – придумаем оправдание их бездействию. Скажем им, что они лучшие, достойнейшие люди, что они – соль земли, словом, отдадим им всю дань уважения, которая нужна самой требовательной натуре. Но раз они подвержены головокружению, они имеют вполне законное право оставаться дома и не идти в горы. Ибо горные пути, как это вам скажет любой альпийский проводник – только для тех, кто не подвержен головокружению: nur fur Schwindelfreie.

Приложение

«Юлий Цезарь» Шекспира

1601 год был роковым для Шекспира. Что случилось с великим поэтом – мы точно не знаем. Разные исследователи высказывают различные догадки. Одни полагают, что на него сильно повлиял судебный процесс и осуждение его высоких друзей и покровителей Эссекса и Саутхемптона, нелепо задумавших и еще более нелепо пытавшихся осуществить план свержения с престола королевы Елизаветы; другие говорят о несчастной страсти к «черной даме», воспетой в сонетах; третьи приурочивают к этому времени смерть отца Шекспира и т. д.

Каждой из этих догадок можно давать больше или меньше веры – это дело склонности ума и решительности в суждениях; но одно – несомненно: в жизни Шекспира произошло какое-то страшное, потрясшее все его существо событие, и с 1601 года он становится совсем иным человеком. Соответственно тому и творчество его принимает иной характер. Еще недавно написал он комедию «Двенадцатая ночь», где так много искреннего, веселого и беспечного смеха, и почти непосредственно вслед за ней, он пишет «Юлия Цезаря», в котором ни одно из действующих лиц не смеет даже на мгновение улыбнуться и «Гамлета», где смеется лишь сам Гамлет, но так смеется, что не знаешь, чему больше

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
ужасаться, – его смеху или его безумным рыданиям.

«Юлий Цезарь» и «Гамлет», так мало по сюжету и внешней обстановке друг на друга похожие, написаны на одну тему, которая выражается восклицанием принца, не совсем точно, но тем не менее очень удачно переданным русским переводчиком в известных словах: «Пала связь времен, зачем же я связать ее рожден». Это значит – прежняя, бессознательная, дающаяся нам всем даром вера в целесообразность и осмысленность человеческой жизни рушилась. Нужно сейчас же, немедленно найти новую веру – иначе жизнь обращается в непрерывную, невыносимую пытку. Но как это сделать? Где найти веру? И есть ли такая вера на земле?

«Юлий Цезарь» – первый опыт беспокойного, нетерпеливого, лихорадочного, а вместе с тем и скрытного, боящегося обнаружить себя искания, когда не столько нужен ответ на вопрос, сколько ответ немедленный. Шекспиру кажется, что он не может больше ждать, что уже все силы истощились, что еще несколько дней, даже часов таких нечеловеческих мук – и он обезумит. Это, разумеется, ошибка. Человек – выносливейшее животное. Ответ не только не придет сейчас, но не придет и через многие годы, а Шекспир не обезумит и будет жить с сознанием, что для него все погибло, и что все ответы, когда-либо дававшиеся на гамлетовский вопрос – были лишь пустыми словами. Но в «Юлии Цезаре» Шекспир боится допустить даже возможность такого предположения. Он напряженно вспоминает все, что когда-либо приходилось ему слышать от людей или читать в книгах, в надежде, что кто-либо из древних или новых мудрецов наставит и научит его, покажет ему, как связывается распавшаяся связь времен... Ведь должно же быть где-нибудь то «слово», которым разрешаются все его мучительные сомнения...

Плутарх, которого Шекспир знал в английском переводе Томаса Нортона, казалось, был лучшим советчиком в этом трудном деле. Плутарх прежде всего учитель, моралист. У него есть твердые незыблемые принципы, в основании которых лежит вера в нравственный миропорядок. Он глубоко убежден, что мораль всевластна и всеильна, и что в сознательном подчинении долгу смертные могут найти достаточное утешение при каких угодно жизненных превращениях. Он – приверженец Платона и вслед за ним настойчиво проводит ту мысль, что можно вынести какую угодно несправедливость, только бы самому не быть несправедливым. Правда, мораль Плутарха, как и его учителя Платона, не безусловно чиста или, как говорят теперь в философии, не «автономна». Она освящается у него религией и находится под непосредственным покровительством богов. Свой диалог о «Позднем наказании безбожника» Плутарх, как и Платон некоторые свои, заканчивает фантастическим изображением загробного мира. Несправедливый человек, в его представлении, казнится не только бесплотной моралью, но и всемогущими богами. Да и не только в этом сочинении – почти во всех своих повествованиях Плутарх, по обычаю древних, замешивает небожителей в человеческие дела. Такому воззрению Шекспир, как сын XVII века и современник Бэкона, не мог, конечно, придавать серьезного значения. Для него плутарховские боги имели только символический смысл. Он, как теперь делаем мы все, совершенно отделил мораль от религии, но тем не менее не перестал ожидать от нее чудес и не отказался от мысли, что этому бесплотному богу, как и всем богам, можно и должно приносить жертвы – даже жертвы человеческие...

Эта мысль и составляет содержание «Юлия Цезаря» – и, само собою, она связана не с личностью Цезаря, который менее всего способен своей жизнью оправдать такую идею, а с личностью его убийцы, благородного Брута. Брут своим поведением должен доказать, что тот, кто до конца решится следовать внушениям высокой морали, может не бояться ничего. В III сцене 4-го действия Брут с Кассием обмениваются следующими, обыкновенно не замечаемыми критикой словами:

Брут. Кассий, у меня
Так много горя!

Кассий. Если пред бедами
Случайными ты упадешь духом,
То где же философия твоя?

Как видите, Шекспир считает, что у Брута была философия, которая научает смотреть в глаза какому угодно несчастию и мужественно выносить все «случайные беды». Не правда ли, завидная философия, и стоит перечистить не только Плутарха, но и всех его учителей и какое угодно множество книг, чтоб только добыть это высокое учение! Ведь «случайных бед» Брута, о которых говорит Кассий, с избытком хватало бы на целый десяток самых

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
добродетельных, самых римских мужей. Беды Брута начались еще задолго до того времени, как он решился вступить в заговор против Цезаря. Та же «философия», которая, по словам Кассия, столь многому может научить человека, уже не раз, все ссылаясь на свои оожествленные права, требовала от Брута жертв. Плутарх рассказывает, что во время борьбы Цезаря с Помпеем, Брут принял сторону Помпея, убившего его отца, ибо считал его дело – правым. А какую жизнь вел бедный Брут! Он не ел, не пил, не спал и даже во время походов, когда другие отдыхали и занимались своими частными делами, он проводил ночи напролет за чтением разных книг, утверждавших его в вере во всемогущество морали!

Когда же Цезарь, друг и благодетель Брута, явился в Рим и стал грозить древней свободе, мораль только кивнула своему верноподданному – и он все забыл и стал готовиться к жертвоприношению, разумеется, человеческому. Мораль в этом случае куда требовательнее, чем обыкновенные языческие боги, которые считали себя вполне удовлетворенными какой-нибудь овцой или козленком и только в редких, особенно торжественных случаях требовали себе сотню быков.

Морали подавай людей, и не одного, а много – и не первого встречного, а самое близкое и дорогое тебе существо – отца, мать, сына, друга...

Для чего же морали все эти жертвы? С такими вопросами можно было обращаться к богам, и боги иногда на такие вопросы отвечали, – но мораль стоит выше подобных вопросов: *sic volo, sic jubeo – sit pro ratione voluntas*. [66] Шекспир это понимал превосходно, но его критики, к сожалению, не умели или не хотели понять этого. Не только современный Брандес, но даже и люди старой веры (да еще к тому немцы, следовательно, идеалисты *par excellence*), Гервинус и Крейссиг или их доверчивый ученик француз Мезьер, или англичанин Hudson, все считают возможным нападать на Брута за его безропотную и смиренную готовность исполнять веления морали. Брута называют «мечтателем», «непрактическим идеалистом», «плоским идеалистом»... Зачем, спрашивают, убил он Цезаря, когда и слепому было видно, что республику уже нельзя спасти, и что свобода все равно погибла для Рима!

Но критики ошиблись в адресе: со своими упреками им нужно было обратиться не к Бруту и даже не к Шекспиру, а непосредственно к самой морали: ведь из-за нее, только из-за нее кроткий по своей природе Брут пустился на злодейские дела. Вслушайтесь хоть немного в его монологи, присмотритесь хоть поверхностно к его поступкам, наконец, если для вас труден Шекспир, прочтите популярного Плутарха, и вы убедитесь, что если Брут и предпринимал что-либо, то не из личных, эгоистических побуждений, а единственно во исполнение велений долга. Кант мог бы быть им вполне доволен: все время он, совсем как того требует автономная мораль, поступал вопреки своим симпатиям и желаниям. Цезарь был его другом и благодетелем, он любил Цезаря, как родного отца – и он же убил Цезаря. Кассий только намекнул ему, что нужно действовать, и Брут уже готов на все. «Что ты хочешь сообщить мне», – спрашивает он своего друга. –

Если это

Ко благу клонится народа – пусть
И честь и смерть восстанут предо мною,
Я глаз своих не отвращу от них.

И это – не фразы! Брута ждали ужаснейшие испытания, но он не бросил своего дела. От него никто не слышал даже жалоб. Жаловаться – значило бы не доверять морали, пожалуй, обвинять ее. А ее нужно уважать: так учит до сих пор наша этика и ее гениальный обоснователь Кант. Брут обязан считать свой жребий счастливым! Сама мораль сделала его своим избранником! Тут нужно торжествовать: ведь высшее, «абсолютное» благо – это приносить в жертву высокой нравственности себя и других.

И не ради каких-нибудь целей: всякая цель должна быть безусловно исключена, иначе в чистое дело морали привносится – страшно сказать – эвдемонистический элемент – и вся «автономия» оказывается пустым звуком. Пред Брутом и Шекспиром стоит незапятнанная идея долга во всей своей голубиной чистоте – и ей, этой идее, они приносят жертвы: они, ибо (и этого нельзя ни на минуту упускать из виду, если хочешь понять «Юлия Цезаря») Шекспир делает то же, что и Брут, – складывает пред алтарем морали все, что ему было дорого, все, что у него было лучшего на земле.

И каких ужасных жертв у них потребовали! У Шекспира Порция говорит Бруту:

Если бы могла твоя забота
Так действовать на тело, как на душу,
Мне б не узнать тебя!

То же можно о самом Шекспире сказать: если б за тот короткий промежуток времени, который отделяет его последнюю комедию от первой трагедии, его наружность изменилась так, как изменилась его душа – самые близкие люди отказались бы узнать его. Но он, как и его Брут в рассказе Плутарха, «в общественных местах старается держаться спокойно», и никто не хочет догадаться, какие мысли занимали поэта, когда он писал «Юлия Цезаря». Одни, как Суинберн, толкуют, что Шекспир хотел возвеличить республику, другие приписывают Шекспиру желание доказать ту великую истину, что в политике следует держаться тех же принципов, которыми люди довольствуются в своем домашнем обиходе. Но об этом ведь писали многие – и выходили ученые трактаты, а не трагедии. Когда Шекспир был занят «Юлием Цезарем», ему, очевидно, было не до республики и не до политики. Из своего Плутарха, которому он так доверял и во всем следовал, он мог без труда понять, что республика была обречена на гибель не Цезарем, а ходом исторических событий. Описывая подробно римскую жизнь этой эпохи, Плутарх говорит: «... толпа не расходилась часто до тех пор, пока ораторская трибуна не покрывалась трупами и не заливалась кровью, и, таким образом, Рим, как корабль без кормчего, был предан всем ужасам анархии. Поэтому самые благоразумные граждане считали еще счастьем, если вся эта безумная сумятица не приведет ни к чему худшему, чем монархия, и многие осмеливались уже открыто говорить, что государственные недуги могут быть исцелены только монархическим правлением, и что для этого лечения следует избрать наиболее снисходительного врача, – чем они намекали на Помпея». [67] Уже одного этого замечания было бы достаточно для Шекспира, чтобы оставить все свои республиканские симпатии, если у него таковые были, или, во всяком случае, попридержать их до времени. Но он шел к Плутарху не за историческими уроками, которых у него было и без того достаточно, как об этом свидетельствуют его хроники, не имеющие себе равных во всемирной литературе. Ему нужно было найти в жизни нечто такое, пред чем мог бы склониться каждый – и слабый и сильный, и правый и виноватый, и счастливый и несчастный; ему нужно было высшее начало в жизни, которое могло бы в минуты отчаяния и безнадежности поддержать падающего человека. От него требовали жертвы, и он хотел знать, кому он ее приносит... Разве при этом можно думать о политике, о формах правления, о нуждах отдаленного Рима?! Шекспир прочел у Плутарха, что благородный, честный, бескорыстный Брут убил своего лучшего друга и затем принужден был положить конец своей жизни самоубийством. Как оправдать Брута, как убедить себя, что в своем несчастье и своих неудачах Брут был выше, правее, достойнее счастливого, удачливого Цезаря? Ведь намерения Брута были чисты, а чистота намерений оправдывает все. Или это – неправда?! Чистота намерений не оправдывает? Плутарх и философия лгут?! Шекспир, когда писал «Юлия Цезаря», не смел думать, что здесь возможен обман. Нравственность права и жрецы ее правы: абсолютное благо не у Цезарей, а у Брутов. Нужно только быть последовательным, нужно только верить высоким заветам, нужно не бояться жертв – все остальное приложится, и претерпевший до конца спасется.

Этим и объясняется «прямолинейность» Брута, возбуждающая в критиках столько неудовольствия. Для Шекспира на одной чашке весов лежала человеческая жизнь, на другой – требования высокой морали, и он сделал все, что было в его власти, чтоб перетянула вторая. Когда бы и зачем бы нравственность ни позвала Брута – он всегда готов отозваться на ее призыв. Другие участники заговора руководятся посторонними соображениями – честолюбием, ненавистью к Цезарю и т. д. Бруту же, как рассказывает Плутарх, «даже и враги не приписывали таких намерений». К убийству он питает отвращение: он не выносит даже лжи и притворства, которых требует характер предпринятого дела. Он хотел бы действовать прямо и открыто, он хотел бы избежать пролития крови. Но долг требует, – и он безропотно повинует. Он говорит, обращаясь к Кассию и заговорщикам:

Не будем мы, Кай Кассий, мясниками,
Мы Цезаря лишь в жертву принесем:
Против его мы духа восстаем,
А дух людей ведь не имеет крови.
О, если бы его, не убивая,
Могли его мы духом овладеть!
Но он – увы! За этот дух страдая,
Кровавой смертью должен умереть.

Убьем его мы смело, но без гнева,
Как жертву, приносимую богам...

Бруту нельзя ни одну секунду действовать по тем побуждениям, по которым обыкновенно действуют люди. Ему нельзя ни сердиться, ни радоваться, он не вправе ни бояться, ни желать. Он должен повиноваться, он священнодействует, он приносит жертвы. У Фихте есть удивительные слова, – удивительные тем, что они необыкновенно отчетливо характеризуют «желательные» отношения человека к идеалу. «Я призван, – говорит он, – свидетельствовать об истине; моя судьба, моя жизнь ничего не значат; дело моей жизни значит бесконечно много. Я жрец истины, я наемник ее, я обязан для нее все делать, на все дерзать, все вынести». Замените в этой красноречивой фразе слово «истина» словом «нравственность», и вы получите *profession de foi* [68] Брута. И он жрец, и он наемник, и он обязался на все дерзать, все вынести ради своего идеала. Но ни в одном из монологов Брута нет того радостного, торжествующего, стремительного пафоса, которым одушевлена речь Фихте.

Наоборот, от слов Брута веет какой-то странной, мрачной подавленностью. Он не может говорить свободно, словно предчувствуя, что его вера, ради которой он дерзнет действительно на все, обманет его. И его предчувствия сбылись. Фихтевская философия, почерпнутая Шекспиром у Плутарха, тоже представляющая из себя огромные залежи *de la nature de grandes ames*, [69] оказалась лишь книжной мудростью, которую нужно отвергнуть в критическую минуту жизни. Красноречивые слова об истине, добре и красоте способны наэлектризовать толпу в ярко освещенных залах – и здесь они уместны, здесь они заставляют биться восторгом тысячи молодых сердец. Но Шекспиру они не дают, не могут дать ничего. «Есть многое на небе и земле, что не снилось учености учений». Об этом Шекспир говорит уже в «Гамлете», написанном почти одновременно с «Юлием Цезарем». В «Гамлете» нет даже попытки разрешить жизненную трагедию традиционной моралью. Плутарх и все учителя мудрости отвергнуты. Гамлет столкнулся с духом, пришельцем из иных стран, и все прежние верования, убеждения, идеалы оказались ему детскими измышлениями. Первою мыслью Гамлета после беседы с духом было:

... Мне помнить о тебе? Да, бедный дух,
Пока есть память в черепе моем!
Мне помнить? Да, с страниц воспоминанья
Все пошлые рассказы я сотру,
Все изречения книг, все впечатленья,
Минувшего следы, плоды рассудка
И наблюдении юности моей!

Твои слова, родитель мой, одни
Пусть в книге сердца моего живут,
Без примеси других ничтожных слов.

Книги не годятся, плоды рассудка выбрасываются за борт. Все, кроме того, что слышал Гамлет от духа, кажется «ничтожными словами». Ни красноречие Фихте, ни научно обоснованная автономная мораль Канта не могут отогнать страшное видение, посетившее бедного принца.

А ведь «дух» в Гамлете не есть плод расстроенного воображения. И сам Гамлет, и Шекспир отлично знают, что «иной мир» навсегда закрыт для нас: «Страна безвестная, откуда путник не возвращался к нам». В наше просвещенное время оттуда утешения не приходят. В этом смысле мы все позитивисты до мозга костей – и не только не придаем значения чужим рассказам о такого рода чудесах, но даже отказались бы верить свидетельству своих собственных чувств, как бы осязательно оно ни было. Но мы позитивисты лишь наполовину. Мы не принимаем духов, когда они являются к нам со словами помощи и одобрения – и отсылаем их прочь, как обманчивую иллюзию, как галлюцинацию. Но когда к нам, как к Гамлету, являются тени, чтобы пытать нас – мы ни на минуту не сомневаемся в их реальности: наши ученые закланания беспомощны и бессильны... Никто из критиков ни разу не обвинил Шекспира в том, что он позволил себе внести в реалистическую трагедию такой нелепый вымысел, как явление духа. Должно быть, мы чувствуем, что наша наука только отчасти справилась с суеверием старины. Она уничтожила рай, но ад принуждена была сохранить, да еще перевести его поближе к нам, сюда на землю, из потустороннего в посюсторонний мир.

Это основной мотив всех трагедий Шекспира. В «Юлии Цезаре» он еще не вполне явственно слышен, так как поэт все старается уверить себя, что Брут, поступив в наемники к морали, попал в рай, а не в ад. Брут упорно стремится победить усилиями разума и воли страшный и безумный кошмар действительности. «Я не спал с тех пор, – говорит он, – как Кассий на Цезаря меня вооружил».

Но тем не менее, Шекспир не дает своему герою терять душевное равновесие. Его речи к заговорщикам ясны и определены; он предусматривает все подробности предприятия, он не хочет выполнить свой план как-нибудь, наскоро, лишь бы развязаться с ним. Нет, он все время остается на высоте задачи. Кассий предлагает заговорщикам поклясться друг другу в том, что они выполнят задуманное. Но Брут не хочет клясть. Это оскорбило бы высокую мораль, которой он служит. Ей нужно подчиняться свободно, а не в силу клятв.

Кассий предлагает погубить Антония, который может оказаться коварным врагом. Другой на месте Брута принял бы это предложение: где там уже думать об отдельных жизнях, когда затевается государственный переворот! Но Брут ведь обязан считаться с моралью: она, как ревнивая любовница, требует, чтоб человек всегда о ней и только о ней одной думал. И Антоний спасен!.. Когда заговорщики расходятся, у Брута находится и ласковое слово для его слуги, Люция, и приветливая улыбка для жены, Порции, словно он не накануне страшного дела, словно наступающие иды марта будут одним из обыкновенных дней года. Брут всегда правдив, тверд и справедлив. После убийства Цезаря он обращается с речью к народу. И – единственный, быть может, в истории случай – в этой речи нет ни одного слова лжи и никаких ораторских украшений. Он мог сказать людям: смотрите, каков я – я ничего ни от кого не утаиваю. Наконец, в 4-м действии, в сцене ссоры с Кассием, вы видите, что Брут горячится, выходит из себя; но и тут он прав пред моралью: он негодует на Кассия за его недобросовестное ведение дела.

О себе лично он никогда не думает! А ему известно, что судьба ко всем «бедам», им вынесенным, прибавила еще новую, страшнейшую: его бедная подруга жизни, Порция, тоже, в качестве дочери Катона, считавшая себя обязанной все вынести, на все дерзнуть ради морали, получив ложные известия о Бруте, отчаялась и умерла страшной смертью: проглотила раскаленный уголь. Но «философия» не велит Бруту смущаться. Все ей отдай, ничего не жалеи. Она требует, чтоб ты убил Цезаря – убей Цезаря, хоть он и лучший твой друг. Она требует междоусобной войны – начни войну. Она приводит к тому, что любимая, ни в чем неповинная жена принуждена глотать горячие угли – и это прими. Она от тебя потребует, чтоб ты сам глотал огонь и при этом восторженно улыбался. И если она этого от тебя добьется, она чуть-чуть подарит тебя снисходительной улыбкой и скажет то, что сказал Антоний о Бруте:

Прекрасна была жизнь Брута; в нем стихии
Так соединились, что природа может,
Восстав, сказать пред целым миром: «Это –
Был человек».

Всего только? – спросите вы. Когда Шекспир писал «Юлия Цезаря», он хотел думать, что этого достаточно, ибо был убежден, что ничего другого у жизни вырвать нельзя. Жизнь требует жертв – это уже не теория, не вымысел, не Плутарх, не Платон – но кому же их отдать? Неужели никому и ничему? Признать их бесцельными? Так не лучше ли снести их к алтарю морали и принять ее бездушную похвалу – все, что она может дать? Нет, хуже, в тысячу раз хуже! Это видно уже и в «Юлии Цезаре», где даже сам Брут, так беззаветно исполнивший свой долг, в последнюю минуту теряет охоту продолжать свое служение и отворачивается от высшего «абсолютного блага», так красноречиво описываемого в философских книгах. «О, Цезарь, – говорит он, – я тебя убил не так охотно, как себя». Но в «Юлии Цезаре» этот диссонанс незаметен для беспечного уха, тем более что он заглушается сказанным Антонием над трупом Брута надгробным словом. В «Гамлете» же нет и следа внешне твердых брутовских речей и дается полная свобода отчаянию. В «Короле Лире» ставится в заключение трагедии страшный вопрос: «Это ли обещанный конец?», а в «Макбете» герой, страшный убийца, который бы должен был не сметь и думать о себе и валяться в прахе пред высокой моралью, дерзает бросить вызов судьбе: «Тебя, судьба, зову на поединок», – восклицает он... От величайшего смирения Шекспир перешел к величайшему дерзновению. Не в этом ли смысл трагических переживаний? И не здесь ли нужно искать разгадку тайны трагической красоты? Во всяком случае ясно, что «автономная мораль», долг *an sich*, к которым Шекспир прибег в труднейшую минуту жизни, не принесли ему ничего. Современная этика, претендующая на суверенные права, была им отвергнута. Нужно либо вернуться назад к Плутарху и его детским верованиям и мифам, либо идти вперед – куда вперед? Вслед за Шекспиром – к Макбету?!

Сказанным достаточно выясняется роль Брута в разбираемой нами трагедии. Что касается самого Цезаря – нужно признать, что он сравнительно не удался

Шекспиру. И, странное дело, очень долгое время критики не хотели замечать этого обстоятельство. Почему? Трудно сказать наверное: вероятно, авторитет Шекспира слишком импонировал им, и всем казалось неловким порицать то, что вышло из-под пера столь славного поэта. Теперь, однако, ослепление прошло. Брандес, например, даже позволяет себе по поводу Цезаря читать длинные нотации Шекспиру. Это, конечно, смешно: Цезарь у Шекспира вышел неживым и карикатурным – но, разумеется, не потому, что великому поэту не под силу было справиться со своей задачей, как думает Брандес. Может быть, если бы он взялся писать о Цезаре не в 1601–1602 году, а пятью-шестью годами раньше, он изобразил бы его иначе. Но теперь, когда дело шло о торжестве «автономной морали», об «идее долженствования» как высшем принципе человеческой деятельности, Цезарь не мог занимать поэта ни как человек, ни как исторический деятель. Тем более, что и у самого Плутарха он изображен в слегка комическом виде. Передавая, например, известный эпизод о том, как Цезарь был захвачен в плен морскими разбойниками и как он гордо и вызывающе вел себя в плену, Плутарх заключает свой рассказ следующим насмешливым замечанием: «... но разбойникам все это очень нравилось, и они в его дерзких выходках видели лишь одни невинные шутки». Такими ироническими замечаниями пересыпан весь рассказ Плутарха о Цезаре, и уже этого было достаточно для того, чтобы внушить Шекспиру недоверие к качеству цезаревского величия. Но даже и помимо того, Цезарь естественно должен казаться смешным человеку, который принужден искать себе последнего оплота в Бруте. Ибо торжество Цезаря – значит поражение Брута.

Не менее загадочным, хотя уже совсем в ином смысле, выходит у Шекспира Антоний. Его фигура очерчена бесподобно, его речи – сплошь до последнего слова – перлы художественного творчества. Но что поразительнее всего: у читателя остается впечатление, что Шекспир на время из-за Антония забывает своего Брута. Антоний близок поэту, он им невольно любит и прощает ему все, даже его изменническую политику с Брутом. А ведь Антоний так же далек от автономной морали, как и Цезарь, – пожалуй, еще дальше... Для него нормы не существуют. Он ничем не связан и боится только силы. Это великолепный образчик смелого, красивого и хитрого хищника. Пока Брут силен – Антоний угодливо склоняет пред ним колени. Но Брут отвернулся, опасный момент прошел, и хищник, почуввав себя на воле, одним ловким, красивым и свободным прыжком бросается на своего укротителя: из-за угла, из кустов, коварно, лживо, не считаясь ни с благодарностью, ни с иными высокими чувствами и правилами. Но в каждом его движении нас невольно поражает доверяющая себе, непокорная, не признающая над собой чуждых законов, самодержавная жизнь. Впечатление получается тем более захватывающее, что мы недавно, вслед за Шекспиром, спустились в душное и темное подземелье, где современная инквизиция, автономная мораль, пытала Брута, заставляла его глотать пылающие уголья... Конечно, и хищник не всегда верно рассчитывает: там, где он надеется на победу, его ждет нередко поражение. Но погибнуть в борьбе за свое право все же не так страшно, как признать себя бесправным существом, наемником – хоть бы морали:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог.

Брут не может знать этих неизъяснимых наслаждений – он борется не за себя, а за идею, за призрак, который люди сделали Богом, Брут, – не цель, а средство, не жрец – а жертвенное животное.

Даже и с Кассием нам как будто легче, чем с Брутом, хотя он делами своими возбуждает в нас ненависть, порой отвращение. Он убивает Цезаря из узко-личных расчетов, он грабит провинции, через которые проходите войском, он сквозь пальцы смотрит на взяточничество подчиненных ему офицеров, он отказывает Бруту в денежной помощи и т. д.

Не будь наряду с ним Брута, мы дали бы простор своему моральному негодованию. Но все преступления Кассия кажутся нам маловажными сравнительно с поставленной себе Брутом задачей. Брут хочет себя и весь мир принести в жертву идее – и для нас слово «жертва» становится невыносимым.

Жаль, бесконечно жаль глядеть на Порцию, бедную подружку бедного Брута. И ее, ни в чем неповинную, сожрала ненасытная мораль. Трогательно и вместе ужасно вспомнить, как ранила она себя в бедро, чтоб проверить себя и убедиться, что она достойная дочь Катона и жена Брута. Она вынесла первое испытание, но чем дальше – тем ей становится труднее. Когда Брут уходит в

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
сенат, у нее уже нет сил владеть собой, и она чуть не выдает вверенную ей мужем страшную тайну. Но все же она справляется с собой – с тем, чтобы потом умереть мучительной смертью. И о ней можно бы сказать: «Прекрасна была ее жизнь», и ее можно поставить в пример всем, жаждущим отличиться пред высокой нравственностью. Глотайте угли – а там уже история вас не забудет и соорудит вам памятник – каждому отдельно или всем вместе, если вас наберется много. Это ли не утешение? Это ли не оправдание жертв и требовательности автономной морали?

Еще есть одно, многоголовое действующее лицо в «Юлии Цезаре» – это народ или, вернее, «толпа». Шекспир недаром заслужил славу «реалиста». Он нисколько не льстит толпе и не приукрашивает ее шаблонными добродетелями. У него она легкомысленна, изменчива, неблагодарна, жестока. Сегодня она бежит за колесницей Помпея, завтра орет «ура» в честь Цезаря, а еще через несколько дней умиляется речам его убийцы Брута, чтоб потом, поддавшись убеждениям Антония, требовать головы своего недавнего любимца. Непостоянством толпы принято возмущаться. Но на самом деле здесь, по-видимому, лишь осуществляется древнейший закон справедливости: око за око, зуб за зуб. Толпе, в сущности, нет никакого дела до Помпеев, Цезарей, Антониев, Сулл, как всем этим героям нет никакого дела до толпы. Сегодня хозяйничает Цезарь – хвала ему; завтра Антоний – можно пойти и за ним. Пусть только дают хлеб и зрелища. А об их заслугах вспоминать нет никакой надобности. Они и сами достаточно хорошо об этом помнят и награждают себя с истинно царской щедростью. Правда, иной раз в густые ряды честолюбцев затешется и честный, бескорыстный Брут. Но у кого есть время и охота искать жемчужину в куче песка? Толпа – пушечное мясо для героев, герои – забава для толпы. Справедливость торжествует, и занавес может быть опущен..

Власть идей (Д. Мережковский. «Л. Толстой и Достоевский». Т. II.)

De la musique avant toute chose...

Et tout le reste est littérature.

Paul Verlaine

I

Мне уже пришлось однажды говорить с читателями «Мира искусства» о книге Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» по поводу 1-го тома этого сочинения, вышедшего в 1901 году отдельным изданием. [70] Между прочим, указывая как на недостаток работы на слишком резко выраженное стремление автора к синтетическому объединению добытого им у Достоевского и Толстого психологического материала, я заметил: «Впрочем, у меня осталось впечатление, что и для самого г. Мережковского синтез имеет только внешне объединяющее, формальное значение и принят им лишь для литературных целей, так что я советую читателю по прочтении книги больше размышлять об ее материальном содержании, чем о формальной цельности».

Я и сейчас продолжаю думать, что общая идея, последний синтез имеет в книге только формальное, литературное значение. Когда-то мне пришлось прочесть известную сказку о том, как солдат сварил щи из топора. Беднягу определили на постой в деревне к очень скупой бабе, которая ничего, кроме черствого хлеба, не давала своему жильцу. Ни просьбы, ни убеждения не помогали. Тогда солдат пустился на хитрость – предложил изготовить отличные щи из обыкновенного топора. Хозяйку эта идея очень прельстила. Затопили печь, налили в горшок воды, положили в воду топор и стали ждать. Когда вода закипела, солдат сказал, что совсем были бы хороши щи из топора, кабы прибавить кусочек мяса. Заинтригованная хозяйка, забыв скупость, пошла в погреб и принесла мяса. Потом, под тем же предлогом, солдат спросил капусты, сала, соли и т. д. В конце концов, щи вышли превосходные, и хозяйка вместе с жильцом поужинали на славу. Что же до топора, то он, разумеется, не «доварился», и солдат обещал его доварить в другой раз.

На мой взгляд, общая идея всегда играет в книге ту же роль, что и топор в щах солдата. Сколько ни возись с ней, она так и останется недодваренной. И главное – книга от того нисколько не страдает: были бы только в ней все остальные элементы, из которых составляется духовная пища человека.

Когда я читал первый том книги «Л. Толстой и Достоевский», мне казалось, как я и высказал тогда, что г. Мережковский и сам не придает большой цены синтезу. И в этом смысле второй том этого сочинения явился для меня совершенной неожиданностью. Правда, я позволяю себе думать, что в

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
значительной степени он явился неожиданностью и для самого автора: мне представляется, что в то время, как он начал писать свой труд, он – «даль свободного романа сквозь магический кристалл еще не ясно различал». Может быть, он даже и не предвидел, что задумает выпустить огромный отдельный том под заглавием «Религия Л. Толстого и Достоевского». Пожалуй, ему тогда, как мне теперь, казалось, что на такую тему и писать нельзя, не нарушив великой 3-й заповеди – нельзя, по крайней мере, светскому человеку, не искушенному в богословских тонкостях. Говорить на пространстве 600 страниц большого формата о религии – т. е. о Боге – кто из нас может быть настолько уверен в себе, чтоб не бояться соблазна суесловия?! А ведь нет большего греха, чем упоминать всуе имя Господа!

И в самом деле, нарушение 3-й заповеди привело г. Мережковского к дурным последствиям. Человек, весь пропитанный современными идеями, поэт, романист, критик – по своему призванию, он попытался в новой для него области применить те приемы исследования, которые приняты в науке и литературе. До сих пор он занимался научными и литературными вопросами, теперь он, по его собственным словам, стал «заниматься вопросами религиозными». Уже самое выражение это «заниматься религиозными вопросами» – выражение, в последнее время ставшее входить в употребление – (я его у г. Минского в «философских разговорах» встретил и еще кое-где) заключает в себе большое недоразумение. Религиозных «вопросов» нет и быть не может, и «заниматься» тут нечем. Существуют вопросы политико-экономические, социальные, если угодно – даже теологические, и на Западе поэтому развились соответствующие дисциплины, которые постепенно переносились и на русскую почву и даже в некоторой степени акклиматизировались у нас. Но религия – это не дисциплина и не наука, и всякая попытка приравнять ее к какой бы то ни было области человеческого знания должна считаться по существу своему незаконной и встретить потому надлежащий отпор. Мне кажется, что отчасти и сам г. Мережковский предчувствовал это – и отсюда у него такое невероятное количество совсем не идущих к светской книге богословских выражений, для которых он, по возможности, даже сохраняет особенности их традиционного правописания (стыдно признаться – но грех утаить: я совсем было позабыл о существовании в русском алфавите прописной ижицы, так что, встретив ее в книге г. Мережковского, не сразу распознал, в чем дело, и принял было ее за римское пять). Но этим приемом он скорее испортил, чем исправил дело. Ему представилось, что, произнося часто святые слова, он уже этим самым в достаточной степени воздает Божье – Богу, и что, следовательно, ему разрешается без всякого стеснения воздавать Кесарю – Кесарево. Вся огромная книга целиком почти посвящена доказательству той «философской» идеи, что в мире существует некое единство, которое – не знаю, как уже правильной выразиться – не то представляет собой религию, не то должно заменить ее. Ни одна из религиозных форм существующих и существовавших религий не удовлетворяет г. Мережковского. Даже исторические формы христианства кажутся ему в высокой степени несовершенными, и он стремится к отысканию какой-то новой формы. История человечества представляется ему одним непрерывным стремлением к отысканию этой, пока еще неизвестной, формы. Он думает, что на нас и на ближайшие к нам поколения возложена задача отыскать новую религию, что с задачей этой близкое будущее справится, а затем – наступит конец мира...

Мне эта схема представляется очень подозрительной – прежде всего потому, что я под новыми, вернее, обновленными словами узнаю старые идеи. Снимите с теорий г. Мережковского рясы и ризы, в которые он без всякого на то права облачил их, и вы увидите пред собой давно знакомую и очень светскую особу, которая в миру называлась прогрессом. Прогресс тоже не всегда держал при себе блестящий штат возвышенных, отвлеченных идей; он тоже любил в свое оправдание ссылаться на более или менее отдаленное будущее. Сходство даже в том, что прогрессивным поколениям обыкновенно казалось, что самая великая и трудная задача выпала именно на их долю, и что им суждено сыграть в истории очень выдающуюся роль. И конец мира вовсе уже не так несвойствен современному мирозерцанию: ученые не раз соображали, что рано или поздно остынет солнце, и, следовательно, земля замерзнет. Правда, они клали более значительные сроки. Но «скоро» г. Мережковского – тоже очень условное скоро. Он сам оговаривает, что мерило у него – вечность. А в сравнении с вечностью – даже тысячелетия суть мгновения. Я бы, впрочем, все-таки довольно легко примирился в общей идее г. Мережковского, если бы во втором томе, как и в первом, она играла бы только внешнюю роль. Прогресс – так прогресс: идея – не хуже и не лучше всяких других идей. Я бы и синтеза не стал очень оспаривать: *de gustibus aut nihil aut bene*, как говорит один из героев чеховской «Чайки». Но на этот раз г. Мережковский ради своих идей

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
забывает решительно все на свете – а этого уже никоим образом простить
нельзя.

И прежде всего, он забывает самого себя, так что мне приходится выступать в странной роли защитника г. Мережковского против г. Мережковского. Вся огромная книга написана так, как будто бы автора ее совсем не было на свете или как будто бы все может быть важно, интересно, значительно, кроме г. Мережковского. Откуда такое самоунижение? Любопытно, что в конце концов он и сам как будто догадывается, что что-то у него неладно, и в предисловии пытается *ex post facto* [71] оправдаться. «Те мысли, – пишет он, – которые я желал бы здесь высказать, не мысли самоуверенного, бунтующего против церкви нигилиста, ницшеанца, западника, декадента, – я не знаю, как еще меня называют, ругают, – а мои самые робкие, мучительные сомнения, мои болезни и немощи, от которых я ищу исцеления – отчасти моя исповедь». [72] Если бы это было так! Но, как мы увидим дальше, г. Мережковский не только никогда не смеет сомневаться, болеть и тем паче исповедоваться – он никому не прощает ни болезни, ни слабости. (Напомню здесь пока, что князя Андрея из «Войны и мира» он «называет, ругает» – «неумным неудачником!»). Я уже не говорю о сомнениях. Стоит только человеку на мгновение задуматься или опечалиться – и г. Мережковский теряет всякое самообладание. «Синтез, идея идет, гляди веселей, чего волком смотришь!» – вот слова команды, непрерывно срывающиеся с уст г. Мережковского, и горе тому, кто ослушается его приказания – будь то «великий писатель земли русской» граф Толстой, будь то знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше или даже сам Достоевский, зачастую являющийся для г. Мережковского пророком. Порядок, равенство во фронте – прежде всего, иначе не получится той идеальной законченности, которая называется синтезом и которая, как нам говорили немцы, составляет конечную цель всяких умственных исканий... Нам теперь нельзя исповедоваться, т. е. говорить правду. Нам нужно быть строго объективными, научными, т. е. высказывать о вещах, до которых нам нет решительно никакого дела, суждения, к которым мы совершенно равнодушны. И при этом еще «глядеть весело»!

II

В этом смысле второй том книги г. Мережковского является полной противоположностью первому. В первом он внимательно, неторопливо, без всяких предвзятых мыслей вглядывается в жизнь и только от времени до времени, словно против воли, чтоб не спорить с традициями, морализирует и делает обобщения. Во втором – он раз навсегда закрыл глаза на действительность и, весь отдавшись во власть идей, начинает обобщать и судить или, как ему кажется, созидать новую религию.

Уже в самом начале книги мы наблюдаем первые вспышки гнева у г. Мережковского по поводу того, что гр. Толстой в «Войне и мире» непочтительно отнесся к Наполеону и, таким образом, оскорбил идею всемирного единения, которую будто бы представлял собой французский император. Нисколько не колеблясь, придав возможную твердость своему по природе мягкому голосу, г. Мережковский восклицает, что Толстой «нарисовал на Наполеона карикатуру, не смешную, не злую, а только позорную – надо уже когда-нибудь прямо признаться – позорную уже, конечно, не для Наполеона». [73] Я думаю, что не следовало бы торопиться с такого рода признаниями. Но, как известно, только первый шаг труден. Раз произнеся роковое слово и убедившись, что оно не повлекло за собой никаких видимых последствий, что небо осталось спокойным, да и земля не содрогнулась, г. Мережковский почувствовал себя совершенно свободным и стал говорить о Толстом решительно невероятные вещи, которые – я в этом глубоко убежден – нисколько не выражают собой его действительных суждений о великом писателе. Здесь следует отметить любопытную черту литературного творчества г. Мережковского, которую можно назвать идейным радикализмом. Он по натуре своей представляет мне страстным охотником за идеями, в своем увлечении способным даже дойти до браконьерства. Но не всякая добыча в этой области соблазняет его. Он признает и любит только самые крайние, самые радикальные идеи. Оттого-то в его сочинениях он совершенно обходится без положительной степени: все у него превосходные. И затем, вы у него редко найдете страницу, на которой не было примерно десяти или больше сильных и резких выражений. В этом, правда, отчасти можно видеть влияние Достоевского и Ницше – но, может быть, и обратно; может быть, он оттого и избрал себе в учителя Достоевского и Ницше, что они отвечают его радикальным вкусам. Г. Мережковский всегда чувствует неодолимую потребность негодовать, умиляться, отчаиваться, выходить из себя, совершенно примиряться и т. д. И что особенно ценно в нем – его настроения обыкновенно возникают самостоятельно,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
совершенно независимо от того, дает ли к ним настоящий повод предмет, о котором у него идет речь. Точно так же и убеждения его – вовсе не такого рода, чтоб, однажды их высказав, никогда бы уже нельзя было отречься от них. Наоборот, внутренне он относится к ним с почти идеальным, суверенным презрением. Эта черта делала бы его оригинальнейшим русским писателем, если бы он имел смелость быть самим собой и не считал необходимостью так последовательно и упорно скрывать свою истинную сущность под немецкими идеями. Когда он возвещает какую-нибудь истину, от которой ему так же легко отказаться, как переменить перчатки, и от которой он не сегодня-завтра наверное отречется, так как он достаточно утонченный человек, чтоб а la *Tongue* [74] не выносить ни одной из выдуманных им самим или другими людьми истин, он при этом делает такой торжественный, убежденный, я чуть не сказал вечный – вид, как и любой из публицистов толстого журнала, 25 лет подряд долбивший своих читателей какой-нибудь гуманностью или прогрессом. Или когда он возмущается и негодует, неопытный человек и в самом деле может подумать, что Г. Мережковский – узкий и нетерпимый фанатик, готовый сжечь на костре всякого, кто вздумает ему противоречить. Ничуть не бывало: завтра он будет, разумеется, негодовать по поводу того, что его сегодня умиляло и прославляло то, что его возмущало. И кто имел терпение изучать Г. Мережковского – тот ни на минуту в том не усомнится. Г. Мережковский высказывает то или иное убеждение лишь потому, что оно сейчас пришлось ему по вкусу и соблазнило его с чисто эстетической стороны; он негодует или умиляется только потому, что ему пришла пора умиляться и негодовать. Его мысли и настроения чудесно независимы от чего бы то ни было внешнего. Монтень нашел бы в Г. Мережковском идеального собеседника! И как обидно видеть, что столь свободный человек насильно втискивает себя в рамки обыденных схем и чуть ли не на каждой странице отрекается от своей глубочайшей сущности. При его литературном таланте, при его искусстве изобретать новые и эксплуатировать старые идеи, при его способности быстро переходить от одного настроения к другому, какой великолепный образец свободной, доверяющей себе непоследовательности мы бы могли иметь в его лице! Как отрадно было бы увидеть не только в стихотворениях, но и в прозаических произведениях пример того поэтического беспорядка, того живого хаоса, о котором мы, запуганные немецкими учителями, скоро не будем уже сметь даже мечтать. Я всегда надеялся, что Г. Мережковский, скорей чем кто-нибудь другой, решится требовать и для прозы той *magna charta libertatis*, [75] которая уже давно считается неоспоримой прерогативой поэзии. И вместо того, во втором томе я встречаю те же однообразные, серые, немецкие мундиры, те же краткие слова команды, что и везде... Даже своим объемом и форматом книга Г. Мережковского напомнила немцев: огромный, толстый том... Г. Мережковский уступил по всей линии вечно торжествующим победителям при Седане. И только изредка замечается у него робкий, вопрошающий, недоумевающий взгляд живого человека: – да полно, точно ли вся эта военщина так нужна...

А меж тем, именно Ницше мог бы научить Г. Мережковского совсем иному. Прежде всего – иной форме изложения мыслей. Ницше, как известно, в этом отношении совсем не был похож на немца. Он писал краткие афоризмы и до такой степени повлиял на немецкий язык, что в настоящее время большие периоды встречаются только в газетных передовицах и у ученых профессоров, профессионально охраняющих все умирающее и даже умершее. На мой взгляд, афоризм – есть лучшая литературная форма. Конечно, и в афоризме человеческая мысль окажется более или менее помятой и раздавленной. Но афоризм дает одно неоценимое преимущество: он освобождает от последовательности и синтеза. Поэта никто не проверяет, думал и чувствовал ли он вчера, в прошлом году, пять лет тому назад, когда писал свои старые стихи – то же, что думает сегодня. А если проверяют и отмечают разницу, – то отнюдь не затем, чтоб укорять его, скорей – чтоб похвалить. Прозаикам необходимо добиться той же свободы, и Ницше, как и Достоевский (писавший тоже и публицистические статьи), нимало не заботились о «единстве», да еще всемирном. Все еще помнят, в каких несомненных противоречиях уличали Достоевского, – о Ницше я уже не говорю. Разумеется, если бы вместо того, чтобы писать небольшие статьи, они сочиняли бы огромные книги, им бы ничего не стоило подогнать под ранжир свои идеи и сгладить все неровности: премудрость, как известно, небольшая. Но они никогда не имели времени об этом думать – а может быть, и сознательно не хотели: ведь отлично знали они, что никакого единства в мире нет, не может – да, пожалуй, и не должно быть, и что идея несколько не выигрывает от того, что ее бесплотные соседки маршируют с ней в ногу.

Меня очень удивляет, что человек с таким эстетическим чутьем, как Г.

Мережковский, соблазнился исключительно радикальными идеями, которые, как материал для творчества, так мало соответствуют характеру его литературного дарования. Если позволительно – а я думаю, что позволительно – сравнивать литературные дарования с вокальными талантами, я бы сказал, что у г. Мережковского *tenore di grazia*. [76] Поэтому хорошо могут ему удаваться только лирические роли. Между тем, его всегда тянет к драматическим партиям. И, чувствуя, что они ему не вполне даются, он прибегает к разного рода искусственным приемам – чтоб усилить впечатление: к форсировке голоса, к вставочным высоким нотам, к бесконечным повторениям. Разумеется, это ни к чему не ведет. Читатель вскоре привыкает к громким звукам и однообразным высоким нотам; а повторения не только не убеждают, но еще раздражают. Впервые высказанная мысль почти всегда привлекает наше внимание, но стоит ее прослушать 3, 4 раза (а г. Мережковский по десяти и больше раз повторяет одно и то же) – и вот она уже примелькалась и потеряла все свое обаяние. И отчего собственно г. Мережковскому героические партии кажутся почетнее лирических? Ведь вот, например, такой замечательный писатель, как Монтень, никогда не драматизирует, а пишет чудесно! Или в наше время Метерлинк, всегда поющий *mezza-voce*. [77] Я думаю, что оба они ничего не теряют даже по сравнению с Достоевским, Толстым или Ницше. У г. Мережковского, желающего непременно быть не самим собою, несоответствие характера его дарования с характером взятой им на себя задачи сказывается часто очень невыгодным для него образом. В самых драматических местах он, уступая никогда не замолкающей в человеке потребности держаться естественно, вдруг каким-нибудь небольшим замечанием, иногда даже одним словом, портит цельность впечатления. Так иногда итальянский певец, исполняющий партию в опере Вагнера, вставив крохотный форшлаг, изогнутое *sostenuto* [78] или столь любезное лирическим тенорам *fermato* [79] на высокой ноте – нарушает стильность музыки и вызывает в слушателе досадное чувство. Приведу один-другой пример из книги г. Мережковского. Повторяя слова Христа «думаете ли вы, что я пришел принести мир на землю? Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить», он прибавляет от себя: «Конечно, это меч для высшего мира, это разделение для высшего соединения». [80] Или вот отрывок из «Войны и мира» с пояснениями: «Мари, ты знаешь Еванг.», – но он вдруг замолчал. «Мы не можем понимать друг друга». Какое страшное молчание! Сколько в нем жестокости. Была ли вообще на земле большая жестокость, большее проклятье жизни? И в этом-то проклятье, которое ведь в конце концов есть, быть может, лишь обратная сторона цинического, животного себялюбия – «все это ужасно просто, гадко; – все вы живете и думаете о живом, а я» – заключается, по мнению Л. Толстого, вся «благая весть» Евангелия. Полно, не злая ли весть?» [81] Или еще: «Нет, – пишет г. Мережковский, – кого другого, а нас этими „воскресеньями“ не обманешь и не заманишь – слишком мы им знаем цену: „мертвечинкой от них припахивает“. Бог с ними, мы их врагу не пожелаем». [82] Можно было бы привести и больше примеров, но, вероятно, и этих достаточно для пояснения сказанного. Форшлаг «конечно» в первой фразе, длинное *fermato* – во второй и неожиданная бравурность в третьей – таких вещей следует всеми силами избегать. Разумеется, на своем месте форшлаг не мешает, а *fermato* и бравурный тон – могут быть красивыми. Но там, где нужно быть простым и кратким – а после цитат из Евангелия, после упоминания о Евангелии обязательно говорить просто и кратко – все риторические украшения строжайше возбраняются. От логики мы освобождаемся, но поэтика, видно, еще на долгое время останется в силе.

III

От общих замечаний перейдем к идеям г. Мережковского. Он считает, что только тот человек заслуживает внимания и уважения, который сознательно и прямолинейно стремится создать религию. В этом коренится и его уважение к Наполеону: «Да, – пишет он, – в эгоизме Наполеона, безумном или животном с точки зрения нравственности „позитивной“, не желающей быть и не смеющей не быть „христианской“, скрывается, с иной точки зрения, нечто высшее, потустороннее, первозданное, премирное, религиозное: „Я создавал религии“. – как будто не себя он любит в себе, а ему самому еще неоткрывшееся, неведомое». [83] Правда, г. Мережковский недолго верит Наполеону и со свойственным ему чарующим непостоянством через 35 страниц, приводя снова слова Наполеона: «Я создавал религию», уже не придает им большого значения. «Ну конечно, – говорит он, – никакой религии Наполеон не создавал, а если и создавал, то не создал и не мог создать». [84] Тут и форшлаг «ну, конечно» годится, тут и трель и даже самое продолжительное фермато было бы кстати. А уместнее всего была бы ссылка на 41 страницу, где утверждается противоположное. Таким образом, как я уже заметил, г. Мережковский достиг бы высшей цели,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
какая только возможно в настоящее время в литературе – провозглашения
свободы человеческого суждения от всего навязанного извне.

Вторым великим качеством Наполеона Г. Мережковский считает его убеждение, что власть его, хотя она и добыта им силой, собственно, все-таки дана ему Богом. И он с восторгом десятки раз повторяет сказанную Наполеоном фразу: «Dio mi la dona, guai a chi la tocca». [85]

Но если пошло на убеждения, то я позволю себе высказать убеждения прямо противоположные. Я считаю, что никто из людей не вправе создавать религию и что тут нечего создавать. Ибо одно из двух: либо Бог есть – и тогда религия дана нам Библией; либо Бога нет – тогда нам с Мережковским лучше всего замолчать. Что же касается Наполеонов, то в обоих случаях их деятельность – только возвышенное комедианство и кривлянье, которое с таким неподражаемым искусством изображено в «Войне и мире» гр. Толстым – одним из тех русских людей, который – что бы про него не говорили – все-таки больше всех других сделал для разрушения престижа господствующих ныне научно-позитивных идей. А к этому и только к этому и сводится в настоящее время истинное дело тех, кто хочет оберечь религию от всепобеждающей обыденности. Обыденность тем и страшна, что она умеет все эксплуатировать в свою пользу и не раз уже обесценивала высшие религиозные истины, заставляя их служить своим целям. И далее, на мой взгляд, утверждения вроде тех, которые скрываются в итальянской фразе Наполеона, не только не свидетельствуют об особой близости человека к Богу и о серьезных религиозных исканиях, но наоборот, указывают на совершенный религиозный индифферентизм. Ибо вообразить себе, что первенство на земле, хотя добытое и собственными силами, а не по праву рождения, есть признак первенства также и перед Богом – значит забыть величайшее слово Евангелия о том, что первые здесь будут последними там... Когда Толстой писал о Наполеоне, он исходил из этой великой мысли (о которой, к слову сказать, Г. Мережковский ни разу в своей книге не вспомнил) – и опровергать его цитатами из Тэна не приходится. Чтоб окончательно противопоставить свое убеждение убеждениям Г. Мережковского, я скажу: страницы «Войны и мира», посвященные Наполеону – суть слава и гордость русской литературы.

Пусть, однако, читатель не думает, что я имею целью защищать писательскую репутацию гр. Толстого. Нет, к счастью, в этом надобности не представляется. Здесь речь идет о Г. Мережковском и о его «религии» – и только об этом. Я хочу установить тот факт, что Г. Мережковский под видом религии предложил нам пользующийся ныне в Европе таким исключительным успехом обыкновенный морализирующий идеализм. Почти каждая страница его книги служит тому доказательством.

«Если, – пишет он, – Наполеон погиб, то не потому, что слишком, а потому, что все-таки недостаточно любил себя, любил себя не до конца, не до Бога (везде курсив автора), не вынес этой любви, ослабел, потерял равновесие и, хотя бы на одно мгновение, сам себе показался безумным, смешным: «От великого до смешного только один шаг». «От этого маленького сомнения, а не от веры в себя он погиб». Не стану оспаривать этого, но полагаю, что дозволительно спросить: откуда это известно Г. Мережковскому, как мог он проникнуть в такие глубокие тайны человеческих судеб? Нужно заметить, что в приведенных словах заключается не мимолетная, случайно забредшая в голову автора мысль и не простое предположение, а одна из основных его идей, которую он с несвойственным ему постоянством и с обычным пафосом проводит через всю книгу. К сожалению, Г. Мережковский сам не нашел нужным дать ответ на этот вопрос, а так как ответом решается судьба книги, то волей-неволей приходится пуститься в догадки. И я полагаю, что этот догмат о спасительности бесконечной любви к себе, как и весь радикальный идеализм, внушен Г. Мережковскому Фридрихом Ницше. Если бы кто стал мне доказать, я берусь соотвечствующими цитатами из сочинения этого последнего доказать справедливость своего предположения. Между идеями Г. Мережковского и мыслями Ницше есть, правда, трудноуловимое, но очень существенное различие – на первый раз даже представляющееся различием только в форме изложения. Ницше удалось счастливо избежать слишком резкой отчетливости и определенности в выражении своих мыслей. Он умел – и в этом его главная заслуга – не переступать ту тонкую чуть видную черту, которая отделяет действительные переживания человека от выдуманных им идей. Он – замечательный представитель той почти божественной беспочвенности, о которой мечтали древние греки: иногда ему удавалось ходить, не касаясь ногами земли. У него нигде нет той тяжеловесной принципиальности и того неповоротливого догматизма, которые Г. Мережковский, вслед за другими

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
моралистами, хочет во что бы то ни стало внести в свое мировоззрение. Исключением является только VIII том, написанный после того, как Брандес уже успел представить его европейской публике, и когда Ницше, увидев, что на него глядят чуть ли не весь цивилизованный мир, перестал думать для себя и стал поучать людей. Вероятно, именно по этой причине Г. Мережковский, часто вспоминая и цитирующий Ницше, всегда обращается к самым последним его сочинениям – к «Антихристу» и «Сумеркам идолов». Раз нужны догматы, все остальное, написанное Ницше, представляет мало интереса. А Г. Мережковскому на этот раз нужны догматы и только догматы. Он во что бы то ни стало хочет доказать, что моралисты правы, что могут быть у людей прочные убеждения, что земля на трех китах стоит и что каждый желающий может этих китов увидеть собственными глазами. Вот два новых образца рассуждений Г. Мережковского: «Раскольников нарушил заповедь Христову тем, что любил других меньше, чем себя; Соня – тем, что любила себя меньше, чем других, а ведь Христос заповедал любить других не меньше и не больше, а как себя (курсив, разумеется, опять авторский, да и как не подчеркнуть такие слова!). Оба они «вместе прокляты», вместе погибли, потому что не умели соединять любовь к себе с любовью к Богу». [86] Оставляю на совести Г. Мережковского истолкование слов Христа – в уверенности, что он недолго будет на нем настаивать. Но каков принцип?! Нужно уметь соединять с любовью к другим любовь к себе! Сколько моралистов позавидуют твердости и определенности убеждений Г. Мережковского. Другой пример: – «О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой», – говорит Ставрогину Шатов. И это, выясняет Г. Мережковский, верно только отчасти. В своих бессознательных поисках последнего соединения Ставрогин иногда действительно «летит вниз головой». Но в своем религиозном сознании он именно только бродит, блуждает, блудит «с краю». Если бы он бросился вниз головой, то спасся бы, почувствовал, что у него уже есть крылья – и перелетел бы через бездну». (Курсива у Г. Мережковского нет, но, на мой взгляд, последняя фраза вполне его заслуживает). Опять вечный принцип: бросайся вниз головой, – вырастут крылья! Ницше говорит, что в тех случаях, когда при нем высказывают новую и смелую мысль, он никогда не обсуждает ее, а всегда предлагает ее автору попытаться осуществить ее. Подождем и мы: когда личный опыт Г. Мережковского подтвердит его идею, быть может, мы станем доверчивей относиться к морали.

Из всего этого, между прочим, следует, что Г. Мережковский, – хотя он и стоит далеко от русских литературных кругов и говорит за свой страх, – по-видимому, всецело разделяет давно укоренившееся у нас убеждение, что писатель должен говорить не то, что он думает, а то, что в данное время полезно и нужно публике. Не знаю, может быть, он и прав. Но если это и так, если и в самом деле писатель должен всю свою жизнь обманывать читателя и подслащать литературной ложью (или идеалами) горестное существование интеллигентного человека, то ведь это следует делать с большой осторожностью – так, чтобы люди не заметили, что их обходят. И успеть в этом трудном деле можно только в том случае, если писатель, обманывая других, ни на минуту не забывает, что он говорит неправду и неправдой этой мучается. Таким образом, благодаря постоянно живущему в нем тягостному и неестественному раздвоению, его речь приобретает тот особенный характер взволнованности и мятежной напряженности, который всегда свойствен проповедникам, и в котором неопытная, вечно наивная и вечно жаждущая сильных впечатлений толпа обыкновенно видит признак сошедшей на человека небесной благодати. «Как дрожит у него голос, как сверкает его взгляд, как бледнеет и меняется его лицо! Все существо его – один трепет! О, тут не может быть сомнения – его устами говорит божество» – непосвященные всегда так рассуждают... Но если человек станет необыкновенные вещи говорить обыкновенным тоном, и если, чтоб не слишком тратиться, он прежде чем выступить пред людьми, постарается сам убедиться в своих истинах, примириться с собой, устранить внутреннее раздвоение, то это кончится тем, что он будет единственным верующим последователем своих идей. Поэтому я опять высказываю сожаление, что Г. Мережковский хотя бы на минутку, на ту минуту, когда нужно написать о Наполеоне, Раскольнике или Ставрогине, верит в истинность того, что он говорит. Выходит уже слишком просто и обыкновенно. Чтоб убедить человека в пригодности различных метафизических идей, нужно либо сразу оглушить его отчаянным криком, как это делал Достоевский, которого многие (даже Вл. Соловьев) серьезно принимали за настоящего пророка Божия – либо, если голоса не хватает, говорить меньше, чем знаешь, но с таким видом, как будто бы мог сказать еще многое: так советовал опытный в этих делах старик Вольтер.

Разумеется, возможен и третий выход: нисколько не заботясь о читателях,

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
прямо высказывать все, что ты думаешь. Но в настоящее время, кроме А. Чехова, нет ни одного человека, который бы имел достаточно внутренней веры, религиозности, чтобы не побояться принять такое предложение. Все глубоко убеждены, что если открыть глаза на действительность, если захотеть говорить правду – то в результате получится одно отчаяние. А читатель требует во что бы то ни стало от писателя «положительных» идеалов. Тут с одной правдой далеко не уйдешь:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
IV

В силу своего недоверия к действительности (к действительности в самом широком смысле этого слова: не надо забывать, что Достоевский называл себя реалистом – и с полным правом) Мережковский перенес, как сказано, спор с религиозной на моралистическую почву и вместо Бога предлагает нам под именем «всемирного объединения» идеализм. Отсюда и его в своем роде беспримерная нетерпимость по отношению к гр. Толстому. Как известно, идеализм, добивающийся «общеобязательных» суждений, был всегда деспотичнейшим учением – даже в устах тех лиц, которые, в силу своего зависимого общественного положения, совершенно искренне мечтали о свободе мысли и слова. Если идеалисты и готовы уничтожить всякого рода внешние стеснения – они никогда не откажутся от права нравственного суда и осуждения. Г. Мережковский являет тому превосходный пример. Вполне либеральный по натуре и своим симпатиям, он, соображая, что гр. Толстой не признает и никогда не признает высказываемые им суждения общеобязательными и единственно истинными, в буквальном смысле слова иногда смешивает с грязью великого писателя земли русской. И притом – действует *bona fide*, [87] т. е. решительно не испытывает ни малейших признаков угрызения совести или даже чего-нибудь похожего на угрызения совести. Наоборот, так как он убежден, что действует во имя великой идеи и так как для идеи, вообще говоря, ничем не жаль пожертвовать, то он, по-видимому, даже чувствует известное нравственное удовлетворение: маленький Давид, сильный только правдой, побивает огромного Голиафа. История интересная: она лишний раз может выяснить нам, чего добивается мораль или идеализм, когда они начинают настаивать на общеобязательных суждениях.

Г. Мережковскому не нравится в гр. Толстом то, что он в нем называет рационализмом, поклонением здравому смыслу, ибо в рационализме он видит помеху свободному движению мистической мысли. Это, разумеется, вполне естественно. Читатели, которые следили в прошлом году за «Миром искусства» или знают мою более раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше», ни на минуту не заподозрят во мне сторонника толстовской морали и ее главной идеи – «добро – есть Бог». Но из этого только следует, что на людях, не желающих превращать Бога в отвлеченное понятие, лежит обязанность доказать свою правоту. И, разумеется, г. Мережковский как человек достаточно образованный превосходно знает, что *opus probandi* [88] – лежит на нас, а не на сомневающихся скептиках. Но вместе с тем г. Мережковский достаточно искусен в этих делах, чтобы брать на себя подобного рода *opus*, и так как при том он считает, что от читателей нужно всячески скрывать внутренние сомнения писателей и что суть не в том, насколько ему действительно удастся поразить Голиафа, а в том, насколько удастся убедить публику в одержанной победе, то он, не делая даже попытки вдуматься в смысл толстовского рационализма, поднимает вопрос о нравственных качествах своего противника. А в таких случаях, как известно, всегда оказывается правым тот, кто успеет первым рассердиться, раскричаться и даже, как мы сейчас увидим, ударить – не в переносном, а почти в буквальном смысле этого слова – ударить врага... Читатель, вероятно, помнит еще ту сцену в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, в которой изображается, как старый лакей Григорий побил молодого лакея Смердякова за то, что этот последний во время урока не побоялся указать на замеченные им в словах Св. Писания противоречия. На месте Григория другой учитель, более толковый и терпеливый, вероятно, умел бы ответить своему ученику и смирил бы строптивого спорщика. Но неуклюжая мысль бывшего дворового человека растерялась при первом возражении, и он наградил мальчика полновесной пощечиной. Тут есть много любопытного, но во всяком случае, мы несомненно находимся в области комического, и пример Григория нас менее всего может соблазнить к подражанию. Григорий первый раз в жизни услышал возражения от Смердякова: но для нас возражения ведь не новость. Г-н Мережковский, как это ни невероятно, соблазнился: ему во что бы то ни стало захотелось приобрести общеобязательные суждения – хотя бы по способу Григория. «Вот

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
 славная пощечина!» – восклицает он и считает, что «рационализм», а с ним и гр. Толстой окончательно раздавлены, и что яснополянские сомнения отныне не должны приниматься в соображение. Моралисты так всегда поступали. Как только они замечали свое бессилие, они тотчас же начинали возмущаться и негодовать, что осквернены их светлые идеалы, что погублены надежды и т. д. Если же негодования оказывалось недостаточно, они иной раз не брезгали обращаться и к «пощечине» – к поддержке организованной или неорганизованной внешней силы. И раз вступивши на этот путь, Г. Мережковский считает, что сделал все: ему остается только придумывать различные вариации на тему о смердяковской пощечине. Что бы ни сказал Толстой – Г. Мережковский вспомнит Смердякова. Под конец, так как и Ницше ему мешает, он начинает поносить и Ницше, забывая благодарность, которой мы обязаны учителям своим. Приведу один-другой пример вариаций Г. Мережковского на тему о Смердякове, так как «своими словами» мне никогда не удастся должным образом объяснить, что собственно он предпринял. Выписав из «Бесов» фразу Ставрогина, оканчивающуюся словами «я точно заражен смехом» и желая доказать, что смех Ставрогина неуместен, Г. Мережковский пишет: «Это-то и есть наш современный и будущий, западноевропейский и русский всемирный демон – отец нашей „лжи“, нашей середины, нашего мещанства, нашей позитивной, либерально-консервативной, смердяковской, толстовской и ницшеанской пошлости (курсив мой) – самый «маленький и гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся», и в то же время самый великий, с каждым днем растущий, наполняющий собою мир, и однако еще никем не признанный (!), невидимый бес». [89] Или еще по поводу идеала великого инквизитора: «В идеале великого инквизитора», в «тысячелетнем стаде счастливых младенцев», поросят эпикуровых, учеников, Карла Маркса, у которых пар вместо души – бесчисленных маленьких, успокоенных под властью Зверя, Карамазовых и Смердяковых, даже не в зверином, а в скотском царстве, противопоставленном царству Божьему, в страшной, социал-демократической Вавилонской башне, «хрустальном дворце» всемирной сытости – не сказывается ли эта именно, угаданная Смердяковым глубочайшая сущность Ивана – любовь к «спокойному довольству» во что бы то ни стало, любовь к беспочвенной середине? – Сущность всей нашей европейской и американской белолицей китайщины, грядущего «серединого царства» с его «бесчувственной космополитической мразью», сущность нашего современного, позитивного и буржуазного черта, бессмертного Чичикова, купца «Мертвых душ» и купца Брехунова, душа барина помещика Нехлюдова, Ростова, да и самого Л. Н. Толстого (опять мой курсив) и душа лакея Лаврушки, барина Карамазова и лакея Смердякова». [90] Эх, угораздило написать человека! Положительно, по мне, должно быть стыдно чувствовать себя таким благородным и возвышенным! И этот огромный период а Та Ницше... А ведь я бы мог выписать десятки, чуть ли не сотни таких периодов, в которых Толстой, Ницше, а подчас и сам Достоевский оказываются пошляками, Смердяковыми, лакеями, Чичиковыми, «поросятами, у которых пар вместо души» и т. д. И этот тон настолько доминирует в книге, что остается впечатление, будто Мережковский ни о чем больше не говорил. В сущности, впечатление не совсем правильное. Г. Мережковский не только разносит Толстого и Ницше: он не забывает и свой синтез. Толстого и «рационализм» ему нужно только устранить, чтобы, как указано выше, открыть путь своей мистической идее.

Кстати, о слове «мистический». Скажу откровенно: не люблю я этого слова и дивлюсь тому, что Г. Мережковский так часто пользуется им. Правда, когда-то, по всем видимостям, это было хорошее, живое, значительное слово. Но походив долго по рукам, оно от частого употребления совершенно выветрилось и в нем, как в потертом золотом, давно уже нет драгоценного металла – остались только надпись да лигатура, и в настоящее время ему та же цена, что и, фальшивой монете.

V

Лучшие страницы второго тома – это те, которые посвящены Достоевскому. Достоевского Г. Мережковский слушает и внимательно слушает, редко стесняет его свободу и только иногда исправляет и дополняет. Без исправлений и дополнений моралисты, как известно, обойтись не могут: они стремятся к «совершенству» и знают – одни во всем мире – что такое истинное совершенство. Уже в первом томе, где Г. Мережковский, держась метода Ницше, умел счастливо избежать ницшеанских идей, он иногда, в интересах синтеза, то вытягивал, то укорачивал разбираемых им писателей. Тем более во втором, где вся почти задача сводится к синтезу. Так, на стр. 397 он пишет: «Понимает ли, по крайней мере, сам Достоевский, что другого черта вовсе нет, что это подлинный, единственный сатана, и что в нем постигнута

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
последняя сущность ноуменального „зла“, насколько видимо оно с нашей планеты категориям нашего разума и переживаемому нами историческому мгновению? Кажется, Достоевский это лишь пророчески смутно – сознавал, но не сознал до конца. Если бы он сознал, то был бы весь наш, а таков, как теперь, он почти наш...» (курсив мой). И еще на стр. 445: «Да и здесь, на этих высочайших крайних точках западноевропейской и русской культуры, в Кирилове и Ницше, так же, как, может быть, отчасти и в самом Достоевском и, наверное, во Льве Толстом, все еще господствует «дух времени», страшный демон середины, непроницаемой, нейтрализующей среды между двумя полюсами («две нити вместе свиты»), наш демон, наполнивший собою мир, самый великий и самый гаденький золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся, дух, смешивающий и смеющийся, дух русского лакея Лаврушки и всемирного лакея Смердякова». Не мог удержаться г. Мережковский – даже Достоевского принял за стыд! И как только не пришло ему в голову то простое соображение, что лучше «не понимать» и быть вместе с Достоевским, Толстым и Ницше, чем «понимать» и остаться в стороне от них. И что, с другой стороны, если Смердяков и Лаврушка попали в такую почетную компанию, как Толстой, Достоевский и Ницше, то тем самым они настолько возвысились, что, пожалуй, теперь и не стыдно быть на них похожими – в конце концов, не только не стыдно, но даже лестно.

Жаль, страшно жаль, что г. Мережковский уступил традициям и погнался за объединяющими идеями! Я не говорю уже о первом томе, но даже во втором встречаются превосходные страницы о Достоевском. Считаю своей приятной обязанностью сделать здесь из его книги большую выписку о Раскольникове, как потому, что мне хочется воздать должное г. Мережковскому, так и потому, что это даст возможность читателю оценить все преимущества ницшевского психологического, описательного метода пред навязчивым и беспощадным общенемецким морализированием... «Раскольников испытал подобное тому, что должен был бы испытать человек, который вдруг потерял бы ощущение веса и плотности своего тела: никаких преград, никаких задержек; всюду пустота, воздушность, беспредельность; ни верху, ни низу; никакой точки опоры; оставаясь неподвижным, он как будто вечно скользит, вечно падает в бездну. После „преступления“ Раскольников испытывает вовсе не тяжесть, а именно эту невероятную легкость в сердце своем – эту страшную пустоту, опустошенность, отрешенность от всего существующего – последнее одиночество: «Точно из-за тысячи верст я смотрю на вас», – говорит он своей сестре и матери. Он еще среди людей, но как будто уже не человек; еще в мире, но как будто уже вне мира. Ему легко и свободно. Ему слишком легко, слишком свободно. Страшная свобода. Создан ли человек для такой свободы? Может ли он ее вынести, без крыльев, без религии? Раскольников не вынес. И как могли, как могли подумать, как до сих пор еще думают все, что он оправдывает себя, потому что боится вины своей, боится «угрызений совести». Да он их только и жаждет, только и ищет сознания вины своей, раскаяния, как своего единственного спасения». [91] Вот как надо писать, вот как надо думать, искать, смотреть! Вот где виден истинный и достойный ученик Ницше! И ведь обошлось без синтеза. Разумеется, читатель, который ищет метафизических, нравственных и иных утешений, взвоят, может быть, даже взревет от негодования, прочитав эти строки – и отвернется от писателя, который столь бесстрашно говорит правду о жизни; но нужно уметь выдержать негодование и даже презрение толпы, нужно уметь, сохранив все возможное спокойствие, ответить воющим, ревушим и негодующим читателям: за метафизическими, нравственными и иными утешениями извольте обратиться к немцам, к толстым, многотомным немцам. У них этого добра – хоть отбавляй, особенно у Канта, специально занимавшегося изготовлением таких вещей, как «постулаты» свободы воли, бессмертия души – и даже Бога! К сожалению, г. Мережковский вместо того, чтобы отсылать к Канту ищущих идеалов читателей, сам идет к нему на поклонение. Я знаю, что г. Мережковский никогда не уделял слишком много внимания вопросам теоретической философии, и я не стану, конечно, требовать от него обширной философской эрудиции и основательного знакомства с деталями кантовской системы. Если бы даже он допустил какую-нибудь ошибку, я бы не поставил ему этого в упрек. Но он оберегся от ошибки – зато сделал худшее. Он повторил общее место о заслугах Канта и сознательно присоединил свой голос к огромному хору хвалителей и почитателей кенигсбергского философа.

Повторяю: он знал, что он делает; он не мог не знать, что, становясь на сторону Канта, он зажимает рот Раскольниковым, Карамазовым, Достоевским, Толстым, Ницше и прерогативу свободного слова делает исключительным достоянием немецких идеалистов. Вот его подлинные слова, в значительной степени являющиеся итогом всей книги: «Одно из двух: надо или опровергнуть

Канта, или принять его и, в таком случае, согласиться с ним, что область, доступная исследованию нашего разума, есть только область явлений, область чувственного опыта, происходящего во времени и пространстве; Бог – вне явлений, вне пространства и времен; а следовательно и вопрос о бытии или небытии Божиим находится вне области, доступной исследованию разума. „Бог необходим“ – это не разумная, не опытная, а мистическая посылка, не опровергаемая и не доказуемая разумом. Разум не утверждает и не отрицает, он только говорит: „Я не знаю, есть ли Бог или нет его“.[92] Г. Мережковский так рассуждает не потому, что он лично проверил, насколько Кант и его критицизм действительно неопровержимы: ему, вероятно, некогда было заниматься этим. Вероятно, он никогда даже и не поинтересовался допросить как следует знаменитого философа, для какой, собственно, надобности потребовалось ему принизить права человеческого «разума». Г-ну Мережковскому в настоящую минуту нужно было лишить права голоса Ницше (см. 441 страницу), и он наскоро заключил союз с Кантом, позабывши, что Кант есть, был и будет основателем того идеализма, к которому обратились столь презираемые им бывшие марксисты. Кант не только не может поддержать человека, ищущего Бога, но своими «постулатами» он в зародыше убивает всякую надежду на возможность найти Бога. «Разум не утверждает и не отрицает бытия Божия» – это прежде и после всего значит, что нам до Бога нет и не должно быть никакого дела – а раз так, то никакие мистические послышки уже не спасут ничего. Мы можем доказать незыблемость научных принципов, мы можем обосновать вечную мораль – ограничимся этим, а с Богом – как будет, так и будет; это дело чистого случая или, как говорит Кант, веры. Не нужно однако смешивать кантовской веры с религией: они ничего общего между собой не имеют. Позитивизм ведь тоже не отрицает веры, даже веры в Бога! В конце одной из глав своей логики Милль, несомненный позитивист, поместил небольшое примечание, приблизительно строк в двадцать, в котором он со свойственной ему ясностью и убедительностью (*beleidigende Klarheit*[93] – говорил Ницше) высказывает ту мысль, что позитивизм не исключает веры в Бога. Мне жаль, что у меня нет под рукой его книги, и я не могу привести этого места, никогда, насколько мне известно, еще не оцененного по достоинству. Но за смысл я ручаюсь. Здесь, впрочем, форма – дело второе: главное, что Бог, о котором в тексте книги никогда не упоминается, попал в примечание. Это характерно и многозначительно: г. Мережковский, наверное, со мной согласится. Но еще интереснее, что ведь Кант сделал то же, что и Милль. Его постулат Бога – есть тоже Бог «в примечании». Все нужно доказывать (напр., закон причинности, нравственный закон), в Бога же можно верить, ибо в конце концов не так и важно – существует ли Он на самом деле или не существует: главное, чтоб Его не оспаривали. В этом смысл и значение критицизма, как и миллевского позитивизма. Нужно было сосредоточить все внимание и весь интерес на мире явлений (и не всех, а только некоторых явлений, не возмущающих душевного спокойствия человека), нужно было придать прочность научным положениям и моральным принципам, которым стал угрожать английский скептицизм – и Кант прибегнул к гениальнейшей из возможных уловок. Увидев, что борьба невозможна, что выдержать напор нового течения – безнадежная затея, Кант решил пригнуться, в расчете, что вихрь пронесется над ним, не задев его. И расчет его оказался математически верным.

Кант спасся от скептицизма! – Стоило на мгновение проснуться от «догматической дремоты», чтобы потом иметь право спокойно, в сознании полной безопасности, уснуть на всю жизнь! Наука и мораль обеспечены в мире явлений, соприкасающихся с философами, беспорядка не будет – ну, а дальше? Дальше – кому охота заглядывать так далеко! И по настоящий день, как только Раскольниковы, Толстые, Достоевские и Ницше начинают бить тревогу – им в ответ тотчас раздается стройный хор вышколенных голосов: назад к Канту, Кант защитит, Кант уймёт бунтовщиков! И если бы Кант прочел приведенные мною выше рассуждения г. Мережковского о Раскольникове или иные места из первого тома «Толстого и Достоевского», он, разумеется, счел бы себя обязанным погрозить пальцем и напомнить о мире явлений, синтетических суждениях *a priori*, антиномиях, категорическом императиве, *Ding an Sich*[94] и т. д. Но г. Мережковский и сам спохватился. Ему понадобились положительные выводы, идеалы, логика, мораль, мировоззрение – а в таких делах без гениального Канта, разумеется, обойтись нелегко.

VI

А теперь спросим, наконец, в чем же последний синтез г. Мережковского? У него на этот вопрос есть очень определенный ответ: в чем другом, а в неясности его упрекнуть нельзя. Уже с начала 5-й главы он приводит

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
стихотворение З. Н. Гиппиус – «Электричество», стихотворение, которое ему кажется до такой степени полно и удачно выражающим его основную мысль, что он заключительные его строки цитирует до десяти раз. Стихотворение небольшое, и я его приведу целиком, ввиду той значительной роли, которую оно играет в книге Г. Мережковского.

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» не слиты,
Не слиты – сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно и мертво;
Но ждет их воскресенье,
И ждут они его:
Концы соприкоснутся,
Проснутся «да» и «нет»,
И «да», и «нет» сольются,
И смерть их будет свет.

Как видит читатель, стихотворение едва ли может быть названо удачным. Оно схематично отвлеченно – в сущности, рифмованное переложение параграфа из элементарной физики. В том же 5 номере «Мира искусства», в котором появилось «Электричество», напечатана еще одна вещь З. Н. Гиппиус – «До дна». «До дна» – прелестное, истинно поэтическое и глубоко правдивое стихотворение. А Г. Мережковскому оно не понадобилось: в нем нет принципов, общих выводов, синтеза. Там непосредственно за такими, как будто бы подающими надежду стихами, как:

Люблю я отчаяние мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана
следуют два других, исполненных столь человеческой, презирающей синтез, горечи:

И только одно я здесь знаю верное:

Нужно всякую чашу пить до дна.

Это – очевидное противоречие, невыдержанность, – а с тех пор, как немцы установили, что противоречий быть не должно, Г. Мережковский теоретически не выносит непоследовательности, а потому не слушает и не слышит человека, так мало «знающего», как автор стихотворения «До дна». И заглушив в себе природную эстетическую чуткость, Г. Мережковский бесконечно повторяет «Электричество», не соображая, что при многократном чтении даже неопытный читатель может догадаться, что «Электричество» – слабая вещь. По содержанию «Электричества» уже видно, каких «выводов» добивается Г. Мережковский. Подобно всем идеалистам, и он убежден, что звание писателя обязывает его сделать знаменитое *salto mortale*, [95] – перескочить через всю жизнь к светлой идее. Но *salto mortale* поражает только у акробатов. Здесь на самом деле отчаянный прыжок заставляет биться человеческие сердца. Мы боимся за смелого гимнаста и с стесненным дыханием следим за его движениями. В области же мысли прыжки – самый безопасный, а потому мало на кого действующий прием. И даже обещание света, кажется, никого уже не прельщает. Боже, сколько раз нам уже говорили об этом свете, и как бы нам хотелось, чтоб хоть на время прекратились светлые разговоры!

И ведь, чтоб добиться света, вовсе не нужны мистические «посылки». Как превосходно на эту тему говорят позитивисты – хотя бы тот же Тэн, на которого ссылается по поводу Наполеона Г. Мережковский. Посмотрите, какой пышной тирадой заканчивает он свою последнюю главу «Истории английской литературы»... «Кто не чувствует восторженного удивления при виде колоссальных сил, находящихся в самом сердце всего существующего, которые непрерывно гонят кровь по членам старого мира, распределяют массу соков по бесконечной сети артерий и раскидывают по поверхности вечный цвет юности и красоты? Наконец, кто не почувствует себя выше и чище при открытии, что этот ряд законов примыкает к ряду форм, что материя переходит постепенно в мысль, что природа заканчивается разумом, и что идеал, около которого вращаются после стольких заблуждений все человеческие стремления, есть та же самая конечная цель, в виду которой работают, не взирая ни на какие препятствия, все силы вселенной?»... Чем это не «свет»? И какое блестящее, вдохновенное, великолепное красноречие!

Но, слушая его, хочется, вместе с Верленом, крикнуть вдогонку окончившему свое дело и удаляющемуся на покой Тэну: *Prends l'eloquence et tords lui son cou!* [96] Не нужно, не нужно нам всего этого...

Нельзя не упомянуть хотя бы вскользь о предисловии г. Мережковского. Это не предисловие, а большая статья в 4 печатных листа. Странно оно начинается, странно и кончается. Автор, по-видимому, задался державинской задачей:

В сердечной простоте беседовать о Боге

И истину царям с улыбкой говорить.

«Довольно, – пишет г. Мережковский, – мы говорили – надо делать: русская литература есть великое слово России, за словом – дело, и дело России должно быть достойно ее великого слова. Начнем же делать».

Что делать? К сожалению, прямого ответа на этот вопрос нет, и мне во второй раз приходится догадываться. По-видимому, г. Мережковский приглашает нас, писателей, вмешаться в общественные дела России. Если моя догадка справедлива, – а ни в каком ином смысле я не могу понять его слова – то, собственно говоря, он запоздал и сильно-таки запоздал со своим призывом.

Вот уже более полувека, как наша литература только и делает, что занимается общественными делами, и если ее в чем можно упрекнуть, то разве в том, что она чересчур усердствовала в этом направлении и вносила общественно-политическую точку зрения решительно повсюду, даже в те области, где она была совершенно неуместна.

Но это дело второе. Гораздо интереснее, что г. Мережковский, по-видимому, уже в самом предисловии делает попытку вмешаться в общественные дела.

Обсуждая вопрос о так называемом «отлучении от церкви» гр. Толстого, г. Мережковский начинает подавать советы св. Синоду. И к моему удовольствию (почему к удовольствию – об этом ниже), его первый опыт оказывается совершенно неудачным. Он, напр., предлагает такую меру: разрешить гр. Толстому печатать в России все свои «богословские» произведения.

Вот эта аргументация: «Свобода мысли и слова никому в России в настоящее время так не нужна, как именно русской церкви, между прочим и для борьбы с Л. Толстым. Если даже безоружность его, вследствие цензурных запрещений, есть только предлог, то насколько все-таки выгоднее было бы для церкви, чтобы и этого предлога не существовало: ведь мнимая безоружность и есть главное оружие Л. Толстого, кажущаяся беззащитность – настоящая крепость, в которую этот Голиаф спасается от камня Давидова. Нужно отнять у него оружие, выманить его из этой крепости, ибо церкви нужна победа не лукавая, открытая, а следовательно, и борьба открытая и т. д.» Увы! все эти соображения слишком элементарны и едва ли на кого подействуют. Любому священнику или начальствующему лицу они уже давно и очень хорошо известны, и если все-таки гр. Толстому не разрешают печатать его сочинения, то, вероятно, для этого имеются очень и очень серьезные основания, которых не знает и не умеет угадать г. Мережковский. Правда, может быть, г. Мережковский пустился на хитрость: он думает, что если назвать Толстого безопасным, то удастся выманить у власти имеющих лишнюю прерогативу. Но это такой избитый способ, им так часто пользовались либералы в своей борьбе с консерваторами, что им уже никого не обманешь и ничего не выманишь. Г. Мережковский в своем предисловии хлопочет не только о привилегиях для гр. Толстого, но еще о многих вещах. И приблизительно с таким же искусством. И я очень рад, что он оказался плохим политиком. Это значит, что он скоро вернется обратно в свою родную стихию – литературу. А раз уже вернется – то наверное убедится, что здесь еще многое, многое осталось сделать, и что при всевозможных обстоятельствах всегда найдутся люди, которых, в силу их характера и дарования, дело и борьба мысли будет занимать больше, чем политика. Ибо и в литературе есть дело, есть страшная борьба, более опасная и кровавая, чем борьба политическая и общественная...

Подведу итог сказанному: идеи г. Мережковского хорошие, благородные, возвышенные идеи – не хуже, может быть, лучше других идей, обращающихся ныне в обществе. Беда в том, что идеи не нужны. *De la musique avant toute chose – et tout le reste est litterature.*[97]

Примечания

1

Верю, потому что невероятно (лат.)

2

Сладостное безделье (ит.).

3

Верю, чтобы понимать (лат.).

4

Я иду неведомо куда, я жду неведомо чего (фр.).

5

Даже если ты вся будешь охвачена безумием и несправедливостью, о Германия, я все же буду тосковать по тебе, хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (нем.).

6

Знание есть знание причин (лат.)

7

Зание причин есть незнание (лат.)

8

Хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (нем.).

9

Мир и жизнь слишком фрагментарны – Г. Гейне (нем.).

10

Знать, чтобы предвидеть (фр.).

11

Аппетит приходит во время еды (фр.).

12

Законное основание (лат.).

13

Образ жизни (лат.)

14

Вечные истины (лат.).

15

Отечество там, где хорошо (лат.).

16

Сколь ничтожным ни было бы непостоянство, с которым человек отказывается от своих намерений, оно в известном смысле его величайшая добродетель, ибо он обнаруживает этим, что у него еще есть некий остаток величия, которое заставляет его отвращаться от того, что не заслуживает его любви и уважения (фр.).

17

Славься, Цезарь – идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.).

18

Благородство обязывает (лат.).

19

Человек человеку – волк (лат.).

20

Разумное основание (фр.).

21

Пусть мир погибнет, но да будет философия (лат.).

22

Фактически (лат.).

23

В конце концов (лат.).

24

Любовь к року (лат.).

25

Предустановленная гармония (лат.).

26

Геометрическим способом (лат.)

27

Адвокат дьявола (лат.).

28

Смирись, мое сердце, и спи сном бессловесной твари (фр.).

29

Мне было так тяжело, как только может быть тяжело человеку; зато лишь под этим щитом я обретаю спокойную совесть, а также нечто, что имеют и имели немногие люди: крялья, чтобы говорить притчами (нем.).

30

Итак, будем веселиться (лат.).

31

Кюльпе, с. 261.

32

Следовательно (лат.).

33

Паульсен, с. 325.

34

Единодушное мнение (лат.).

35

Общепринятость (нем.).

36

Тем, кто не подвержен головокружению (нем.).

37

Даю, чтобы дал ты (лат.)

38

Желающего судьба ведет, нежелающего тащит (лат.).

39

Мир желает быть обманутым – пусть будет обманут (лат.).

40

Усидчивость (нем.)

41

О вкусах или ничего, или хорошо (лат.).

42

Братья, сохраним верность земле (нем.).

43

По преимуществу (лат.).

44

Мимикрия.

45

Поэтами рождаются (лат.).

46

Вечно женственное (нем.).

47

В себе (нем.).

48

Междоцарствие (лат.).

49

И все-таки природа в конце концов познает себя (нем.)

50

Комедия окончена (ит.).

51

Верю, ибо нелепо (лат.).

52

Алчной рукой ищет клад и радуется, когда находит дождевых червей (нем.).

53

Благие намерения (лат.).

54

С крупинкой соли (лат.).

55

Мы ученики, боль наш наставник (фр.).

56

За неимением лучшего (лат.).

57

К вящей славе Божией (лат.).

58

В конце концов (фр.).

59

Оскорбление величия (лат.).

60

Птица поет в клетке не от радости, а от досады (ит.).

61

Не бывает такой грустной собаки, которая не виляла бы хвостом (ит.).

62

Бог или природа (лат.)

63

Лови день (лат.) (дожидайся момента).

64

Непременное условие (лат.).

65

Вплоть до бесконечности (лат.).

66

Я так хочу, так велю, и довод – моя воля (лат.).

67

Плутарх. Цезарь, гл. 28.

68

Исповедание веры (фр.).

69

Пища великих душ (фр.).

70

См. «Мир искусства», 1901 г. №№ 8 и 9.

71

После свершившегося (лат.).

72

Религия Л. Толстого и Достоевского, с. XXIV.

73

Ib. с. 56.

74

Продолжительное время (фр.).

75

Великая хартия вольностей

76

лирический тенор (ит.).

77

Вполголоса (ит.).

78

В умеренном темпе (ит.).

79

Знак длительности звука (ит.).

80

Ib. с. 65.

81

Ib. с. 185.

82

Ib. с. 156.

83

Ib. с. 41.

84

Ib. с. 77.

85

Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности filosoff.org
Бог мне ее дает, и горе тому, кто ее тронет (ит.).

86

Ibid. с. 138.

87

Честные намерения (лат.).

88

Бремя доказательств (лат.).

89

Ib. с. 351.

90

Ib. с. 391.

91

с. 128.

92

с. 440.

93

Дерзкая ясность (нем.).

94

Вещь в себе (нем.).

95

Смертельный прыжок (ит.).

96

Сломай риторике хребет! (фр.).

97

Прежде музыка – а уж затем литература (фр.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!